



Причастные

Ант Скаландис

Заговор посвященных

«Автор»

1997

Скаландис А.

Заговор посвященных / А. Скаландис — «Автор»,
1997 — (Причастные)

Роман А.Скаландиса «Заговор Посвященных» – это захватывающий фантастический триллер, от которого невозможно оторваться. «Конечно, их ждали внутри... Эти уже были без формы – в характерных серых плащах. И тогда он выхватил пистолет и сразу начал стрелять. Он знал, что стрелять надо сразу. С этими по-другому нельзя: никакие угрозы и предупреждения, никакие финты не помогут... Он выстрелил дважды, и оба искусствоведа в штатском рухнули»...

© Скаландис А., 1997

© Автор, 1997

Содержание

ПРОЛОГ	5
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ	20
Глава первая	20
Глава вторая	39
Глава третья	55
Конец ознакомительного фрагмента.	62

Ант Скаландис

ЗАГОВОР ПОСВЯЩЕННЫХ

ПРОЛОГ

Киев встречал меня не слишком ласково.

Садись сквозь густую облачность, а на летном поле холодный и влажный ноябрьский ветер сразу хлестнул по лицу, как обиженная девушка, которой ты обещал прийти вовремя, но вновь опоздал, да не на десять минут, как обычно, а на все полчаса, и вместо покаянных слов и огромного букета, полагающегося в таких случаях, решил отделаться маленькой шоколадкой и милыми шуточками.

Было с чего обидеться, хотя Киев и не девушка, а, по слухам, отец городов русских. Так ведь я и опоздал изрядно. В девяносто седьмом мне было действительно хорошо на Украине, и я клялся очень скоро вернуться, а вот, получается, прилетел только через два года.

«Ну, ладно тебе, не дуйся! – улыбнулся я городу, ступая под козырек аэровокзала и беззлбно смахивая с головы и плеч снежную крупу. – Какие могут быть обиды? Привет, отец!»

А потом был Лешка Кречет, который тоже встречал меня весьма странно. Его, как всегда, ненормально чистый автомобиль, на этот раз сверкающий черным лаком «лендровер-дискавери», я вычислил еще издали и некоторое время гадал, мыл он его прямо здесь, в Борисполе, или вообще приехал на чем-то другом, ведь дороги повсюду мокрые и грязные. Да и теперь, когда я вышел на площадь перед зданием аэропорта, с унылого неба цвета застиранной портянки сыпался гадкий мокрый снежок.

Лешка стоял, перегнувшись через капот и сосредоточенно тер куском мягкой замши ветровое стекло.

– Привет, – сказал я, подойдя вплотную. – Мы едем куда-нибудь?

– Привет, – небрежно оглянулся Лешка, словно я был его сотрудником, опостылевшим хуже горькой редьки за несколько тяжелых недель без выходных, и как бы неохотно пояснил: – Сейчас. Видишь, стекло протираю. Мне кузов помыли специальным американским шампунем. Отличный состав, после него грязь совсем не прилипает, но эти уроды ухитрились залить раствором и стекла. Смотри, разводы какие жуткие, не видно же ни черта!

– Под снегом бесполезно, – заметил я. – Это же что-то на основе парафина, да? Надо оттирать по сухому.

– Знаю, – все так же недовольно буркнул он и продолжил свое занятие. – Ну, хоть чуть-чуть. Видишь, вот здесь уже лучше.

Что и говорить, важную тему обсуждали мы с ним. Михаил Разгонов, имеющий высшую категорию причастности в службе ИКС, и Алексей Кречет, один из ведущих политтехнологов Украины и человек с исключительными полномочиями в другой международной организации, названия которой я не знал, однако в могуществе оной имел счастье убедиться не однажды.

И я решил таки сменить тему:

– Вот, возвращаюсь в Россию насовсем.

– Знаю, – кивнул он еще более равнодушно, чем по поводу моего технического замечания.

– Слушай, с тобой не интересно, – обиделся я. – Ты все на свете знаешь.

– Ах, ну да! – подколот он. – Ты же преподаешь в Берлинском университете. Нравится читать лекции тем, кто ничего не знает?

Потом бросил, наконец, свою дурацкую замшу в приоткрытую водительскую дверь, попал точно между ручкой передач и ручкой раздатки, и добавил уже серьезно:

– Я очень многого не знаю на самом деле. Садись, рассказывай. Машина новая, купил сегодня, быстро, по случаю и ни с кем не советуясь, так что прослушку поставить еще не успели.

– Понял, – только и сказал я, внезапно осознав, что совершенно не представляю, с чего начать.

Лешка рванул с места, как участник автородео, я бы не удивился, если б он еще и ручник на себя дернул, вставая на задние колеса для прыжка. В общем, годы шли, а Кречет оставался верен себе: самые последние модели самых пижонских марок, никаких водителей и юношеская лихость в управлении. Не только машинами, людьми – тоже.

Через какую-нибудь минуту мы уже летели по трассе со скоростью сто восемьдесят, обгоняя всех.

– Обычно, – поведал Кречет, на трассе меня никто не обходит.

– А если «порш» или, скажем «додж-вайпер»? – поинтересовался я.

– Ну, если «порш»... – проговорил он задумчиво. – Да их на весь Киев десятка полтора. Случалось. Конечно, случалось...

– А на «лендровере» вообще ездят с такой скоростью?

– Вообще – нет, но на моем – нормально. На поворотах, конечно надо сбавлять, – добавил он, проходя поворот на ста сорока, впрочем, довольно плавный поворот. – А то ведь и перевернуться можно.

Перевернуться не перевернулись, но в дверь меня вдавило капитально, и под этим наклоном я отчетливо увидел в правом зеркале серебристую «БМВ», проходившую этот вираж следом за нами примерно на той же скорости. Если не больше. Совершенно автоматически я отметил, что именно эта «бээмвуха», отпарковывалась от стоянки буквально через секунду после нас.

– Это что, сопровождение? – мотнул я головой назад.

– Нет, это хвост, – сказал Лешка спокойно. – Скорее всего. В город въедем, пойдем наверняка – тогда и оторвемся.

– А надо? – любопытствовал я.

– Да, в общем-то, нет, они все и так знают, откуда и куда я еду, просто не люблю, когда в затылок дышат. Да, а кстати, тебя сразу ко мне отвезти? Нинка дома. Обедом покормит, Или со мной в офис поедешь?

– Да лучше с тобой, – ответил я, не раздумывая. – Ты там надолго?

– Часа два, думаю, проторчать придется.

– Нормально. Кофе нальешь?

– Не вопрос, – улыбнулся Лешка. – Марьяна у меня отлично заваривает по-турецки.

«Бээмвуха» потеряла нас. А я за полчаса пути успел рассказать Кречету совсем не так мало: про Тополя и Вербу, окончательно сошедших с ума, про наши странные контакты с сотрудниками ЧГУ, про надежду перевербовать их, про зашедших в тупик яйцеголовых из Спрингеровского центра в Дуранго, не способных до сих пор дать обстоятельную оценку явлению точки сингулярности и мрачному пророчеству с таинственных дискет. В этом месте Кречет улыбнулся, вспоминая нашу веселую последнюю встречу в том самом загадочном нигде. Оказывается. Они с Юркой Булкиным девятнадцатого апреля были в музее Булгакова, а потом вышли на Андреевский спуск и не спеша побрели вверх, продираясь сквозь толпу меж рядами художников и торговцев сувенирами, и вдруг – бац! – никакой толпы вокруг, а впереди океанский берег, и Волга, и Берлин, и Москва...

– Ты думаешь, это было на самом деле? – спросил я немного наивно, по-детски, почти как беременный Верунчик.

– Конечно, – кивнул он с небрежной уверенностью полубога.

– Ну, и как это понимать?

– А оно тебе надо? – вопросом на вопрос ответил Лешка, стилизуя свою, похоже, серьезную мысль под новорусский фольклор.

– Не хочешь отвечать?

– Да нет, – он пожал плечами. – Я и сам ни черта не понимаю. Но при этом абсолютно убежден: нам с тобой научные основы этого дела ни к чему. Любуясь восходом, не рассуждают о небесной механике. А тем более для того, чтобы смотреть телевизор, совсем не обязательно знать его устройство и принцип действия.

– Вот так ты ставишь вопрос, – несколько опешил я и перешел к делам более свежим. – Ты знаешь, кто такой Эльф?

Я специально задал вопрос внезапно и очень внимательно следил за его лицом, но и Лешка понял, что я слежу. Он и бровью не повел. Паузу выдержал очень естественную, потом уточнил:

– В каком смысле? К чьей мифологии относится? По-моему, к скандинавской.

– Дурака не валяй, ладно? – изобразил я легкую обиду. – Я спрашиваю, знаешь ли ты Юриуша Семецкого?

– Семецкого, Семецкого, – повторил Кречет, как эхо. – А он Семецкий или Симецкий?

– Он через «е» пишется, – безнадежно вздохнул я.

– Тогда нет, я знал одного Симецкого, и его звали Мойшей.

Разговор увял, и я еще раз сменил тему, рассказав о том, как месяц назад умер в Швейцарии Марк Львович, отец Белки, как мы ездили хоронить тестя, успевшего за час до смерти распорядиться, чтобы тело его никуда не возили. Впрочем, я и раньше знал, сколь пренебрежительно относился этот умнейший человек к судьбе своих останков. Главное, считал он, поменьше хлопот, а на могилу ездить – дело десятое. Не у дурацкого холмика, поросшего цветами, о человеке вспоминать надо, а повсюду, повсюду, где жили вместе, где вместе работали, пили, спорили, отдыхали... Будет что вспомнить хорошего – вот и отлично, а не будет – грустно, но тоже ничего. Марк Львович был материалистом до мозга костей, и Белка категорически поддержала последнюю волю отца, хотя у Зои Васильевны и зародились, было, серьезные сомнения, ведь к тому моменту мы уже знали, что возвращаемся в Москву. «Ничего, мамочка, – сказала моя мудрая жена. – Зато всегда будет не повод, а серьезная причина в Швейцарию поехать».

Ну а теперь, когда визы были оформлены нам всем, Белка задержалась сначала в Берлине – для всяких формальностей, связанных с отправкой контейнера, потом вместе с Андрюшкой махнула в Ланси, чтобы уже втроем с матерью вылететь в Москву из Женевы. Дом швейцарский решено было продать: Зоя Васильевна рвалась на родину еще сильнее дочери. Ну, а на всякий случай нам всем хватило бы и берлинского особнячка, который и попросторней, и посовременнее, да и место, прямо скажем, более подходящее для семейки сумасшедших урбанистов.

Пару слов сообщил я Кречету о наших отношениях с Белкой, практически безоблачных уж полгода, как минимум. О последнем свидании с Вербой решил даже не упоминать. Безумная страсть на ковре в Кемпинском являла собою сцену из другой пьесы. Можно соглашаться или не соглашаться, принимать или не принимать, но отношения между Причастными – это всегда много больше, чем адюльтер, и предметом для ревности служить они не могут. Точнее, не должны. Ведь я совсем не уверен, что сумел бы в очередной раз объяснить подобную истину жене. И все же с годами Белочка моя катастрофически умнела. Она окончательно разлюбила щекотать нервы всякими глупостями как мне, так и себе, поэтому разговоры об изменах у нас практически полностью сошли на нет. Думаю, узнай Белка, что я раз шесть или восемь (буквально так) предавался радостям земным с Паулиной, она бы не слишком расстроилась. Но я не считал нужным рассказывать об этакой ерунде.

Меж тем Кречет совершенно неожиданно проявил странный интерес к теме семейных отношений, задавал конкретные вопросы, и на отдельные откровения меня таки раскрутил.

Сам он при этом все мрачнел и мрачнел, словно от успехов в моей личной жизни зависела президентская предвыборная кампания на Украине. Это было совсем не похоже на Лешку, и я уж, было, собрался спросить его прямо в лоб, в чем дело, но тут мы и приехали.

В старом доме на Проризной, в большом офисе с высокими потолками началась сразу немислимая суета: люди, телефоны, бумаги, листание каких-то файлов в компьютере, демонстрация будущих предвыборных плакатов. Однако и про кофе забыто не было. Принесли ароматного, крепкого, в наилучшем виде, и коробку конфет «Гетьман» с музыкой, и рюмочку доброго коктельского коньяку – для меня. Лешка не стал, на работе у него с этим строго.

Потом как-то все поутихло. Пока внезапно в дверь не ввалился референт, выпаливший еще с порога, что, мол, такого-то такого-то застрелили.

– Когда? – быстро спросил Лешка.

– Да только что. Еще даже в новостях не передавали.

– Доигрался хрен на скрипке, – процедил Кречет злорадно, и вдруг виновато покосился на меня, словно выматерился при ребенке.

Я прямо обалдел, а он еще возьми и добавь:

– Извини, Мик, знаю, что нехорошо, но... собаке собачья смерть. Он с бандюганам работал, и сам по жизни бандюган. Там другого и ждать не приходилось.

Я не знал, о ком они говорят, потом, уже в машине по радио услышал – убили мэра одного из областных центров – не мелкая персона. Но дело было в другом. Я действительно не люблю, если кто-то радуется смерти, тем более насильственной. Кречет знал это, вот и начал извиняться. Я счел нужным несколько сгладить ситуацию:

– Ты с ума сбрендил, Ол! Ну, убили и убили. Работа такая, не ты же его заказывал?

Лешка бросил на меня дикий обжигающий взгляд:

– А теперь ты с ума сбрендил, Мик. Я никогда и никого не заказываю. Коля! – окликнул он референта, уже собравшегося покинуть нас. – А в Интернете сообщение прошло?

– Три минуты назад еще не было.

– Постарайтесь сделать так, чтобы наше информационное агентство опередило всех.

– Хорошо, – кивнул Коля, – думаю, получится.

Внезапно, мне сделалось грустно от этой чертовой политики, где сообщение о смерти важнее самой смерти, а деньги, ради которых убивают, несоизмеримо дороже человеческой жизни, даже жизни мэра.

– Скоро домой поедет? – жалобно поинтересовался я.

– Да, – сказал Лешка, – вот эту фигню сейчас доделаю и все, – он постучал пальцем по какой-то декларации или программе, лежащей перед ним уже битых полчаса с одной единственной поправкой. Сделать следующие никак не позволял телефон или визиты референтов.

Кречет выделил ярким зеленым маркером одну строчку, потом раздраженно бросил его на стол, помассировал виски двумя руками и, наконец, пристально посмотрел на меня.

– Я от Нинки уходить собираюсь.

– Вот те на! – выдохнул я.

Впрочем, я уже был готов к чему-то подобному.

– Случилось что-нибудь?

– Ой, Мик, у нас там такое! Это не жизнь, это литература. Ладно. Давай вечером. Махнем куда-нибудь, выпьем по-нормальному. Я тебя с Тamarой познакомлю.

Тут же раздался очередной звонок, и оказалось, что это меня. Кому могло прийти в голову искать Разгонова по служебному телефону Кречета, в то время как все мои родственники, друзья и деловые партнеры прекрасно знают, что я не расстаюсь с трубкой и не выключаю ее никогда, а определенному кругу лиц известен и второй мой номер – для экстренной космической связи. Впрочем, именно среди этого круга полно сумасшедших, объяснять логику их поведения – дело более чем безнадежное. И я угадал. Это был псих из психов – старый друг

Кречета по пернатому сообществу, представитель доблестной Третьей силы, а с некоторых пор добровольный помощник и консультант Причастных – Стив Чиньо собственной персоной.

– Здравствуйте, Микеле, – заговорил он нарочито по-итальянски, а ведь прекрасно знал, мерзавец, с английским и немецким у меня гораздо лучше. – Я в Киеве, вот и звоню вам по местному номеру.

Объяснение было сильным: неужели у этого миллиардера деньги закончились, и он решил экономить на звонках? Почему-то меня сразу разозлил его фортель, как впрочем, и итальянский язык, да и само появление высокомерного всезнайки на Украине.

– Добрый день, дорогой товарищ Чиньо! – отрапортовал я. – Это не вы ли случайно сидели в серебристом «БМВ»?

– Нет, – ответил Чиньо с достоинством после короткой паузы. – В той «БМВ» сидели местные... товарищи.

– Тогда как рассматривать ваш визит: это сопровождение или слежка?

– Откуда такая агрессивность, Микеле? – похоже, Стив искренне обиделся. – Я просто хотел встретиться с вами.

– Вот как? – пришлось немножко сбавить обороты. – А Вайсберг обещал, что я приеду на родину безо всяких секретных заданий.

– Ну, если Вайсберг обещал... – многозначительно протянул Стив, а потом бесцветно закончил: – Значит, так и будет. Я не предлагаю вам никаких новых заданий. Всего лишь два совета. Выслушаете?

– По открытому каналу связи? – решил уточнить я.

– Ну, не такой уж он и открытый, – проворчал Чиньо. – К тому же наши враги едва ли смогут использовать эти советы нам во вред. Так слушайте. Первое. Когда и если у вас возникнет необходимость звонить Причастным, – при прочих равных условиях – звоните всегда Тополю, а не Кедру. Вербу вообще лучше не трогайте. И второе: по приезде в Москву сразу заведите собаку.

Так и знал, что услышу какую-нибудь чушь. Я шумно выдохнул в трубку и воздержался от комментариев. Но тут же и поклялся мысленно: буду вести себя с точностью до наоборот.

– У меня все, – невинно проговорил Стив. – Ну, разве что еще один ма-а-аленький штришок – не совет, а так дополнение: не затягивайте с поездкой к Анжею. Он вам все это подтвердит, а то я уже по вашему дыханию чувствую, до какой степени вы со мною не согласны.

«Вот зараза!» – подумал я и решил достойно отпарировать:

– Ну, конечно, Стефанио, вы же большой специалист по вдохам и выдохам. Если не ошибаюсь, одна из ваших книг так и называлась – «Роль секса в психосинтезе и сознательное дыхание».

– А вы эрудированный мальчик, Микеле, – отечески похвалил Стив, – и все-таки нам необходимо встретиться. Я *обязательно* должен вам кое-что передать. Будьте на связи.

Последняя информация почему-то уже не расстроила меня, даже наоборот. Должно быть, потому (пришло в голову после), что, поставив точку в нашем разговоре решительным разрывом связи, Чиньо оставлял мне возможность поквитаться при встрече.

– Мы едем? – нетерпеливо спросил я у Кречета еще раз.

– Уже да, – кивнул он, – но обедать будем все-таки у Нины.

– Никаких возражений. Надеюсь, готовит она по-прежнему отменно?

– О да, дружище, совсем не кулинарные ее способности послужили причиной нашей размолвки, – он помолчал и добавил серьезно. – Быть может, это единственное, что в ней осталось от прежней Нины.

Мне не хотелось верить, что какие-то два года могли так сильно изменить человека, но по дороге в машине Кречет все же не удержался и кое-что поведал о жене, очевидно, хотел подготовиться к встрече. Оказывается, они много-много лет не изменяли друг другу. Даже потребо-

сти такой не было. Хотя возможностей – море: и когда Лешка крутился на телевидении среди артисток, и потом, когда в администрации президента ему по рангу полагались госдевички для релакса, и тем более теперь, когда ушел на вольные хлеба и всякий контроль за его жизнью сделался весьма затруднительным не только для жены, но и для очень серьезных спецслужб. Соответственно и у Нины имелся маневр, и красивое оправдание, мол, ты весь в работе, ты обо мне забыл. Но оба держались. Точнее, даже не так: оба не думали об этом. Потому что удержаться на самом деле немислимо. Когда нельзя, но очень хочется, то можно. Это не просто шутка, это истинная правда. И вот захотелось. Обоим сразу. Они так и не выяснили до сих пор, кто был первым, потому что сначала отчаянно ввали, скрывая все друг от друга, а затем в пароксизме откровения заврались в противоположную сторону, наговаривая каждый на себя и едва ли не соревнуясь в подлости. Почему так произошло? Надоели друг другу за много лет? Чрезмерно завысили требования? Устали от почти идеального благополучия? Кинулись на поиск острых ощущений? Кречет сам не знал ответа. Но теперь это казалось несущественным. Они были бы готовы простить друг другу все: в конце концов, почти двадцать лет вместе и почти взрослая дочь и еще много всяких «почти», которых все равно не хватило, потому что появилась ОНА. Разлучница. Со стороны Нины тоже были весьма интересные фокусы, но главную роль сыграла все-таки Тамара.

На появлении главной героини, Лешка и закончил свой рассказ, так профессиональный драматург завершает первое действие пьесы. А тормознули мы, как всегда, резко, с визгом у самого подъезда, и он сказал:

– Пошли. Жрать охота.

Да, Нина Кречет выглядела неважно. Она заметно располнела, ссутулилась, в общем, перестала следить за собой. Сделались отчетливо видны морщинки в уголках глаз, темно-русые, красивые волосы вроде и уложены как надо, а лежать не хотят, и рука, которую я галантно поцеловал, предательски выдавала возраст. (Боже, да разве сорок лет – это возраст для женской руки?!) Но главное, цвет лица. Нет, оно не было бледным. Я искал нужное слово, потом вспомнил и испугался: есть такое старинное выражение – почернеть лицом. Лешка тоже смотрел на жену пристально и мрачно. Мы оба чувствовали: что-то случилось. Однако Нина вымученно улыбнулась и сказала:

– Как я рада тебя видеть, Миша! Да вы раздевайтесь. Проходите. Чего встали тут, давно готово все.

Говорок у нее был все тот же – милый, южно-русский, уютный, и я начал потихоньку оттаивать, да и стол, как всегда, ломился от салатов и закусок, от всевозможных домашних изысков. Возникло несколько бутылок отличного крымского вина, Лешка лично извлек из морозилки початый штоф горилки, немедленно покрывшийся густым инеем до уровня жидкости – классическая водка в шубе. В общем, разлили, выпили, прокомментировали невозможность простудить горло замороженной водкой, оценили чудесную форель слабого посола, нежинские огурчики, фаршированные баклажаны, свинину запеченную по-домашнему, пирожки с грибами и визигой... Начался легкий треп ни о чем, тут и Ксюша подошла, она теперь тоже пила вино, и при ней можно было рассказывать взрослые анекдоты. Так прошел добрый час, все словно и забыли о проблемах и разногласиях – ах, какая образцовая семья! Иллюзия рухнула с первым телефонным звонком. (И как это он молчал так долго? Ну да, Лешка мобильник свой на время обеда выключил – старое доброе правило многих серьезных людей, – а городской номер полчаса, как минимум, занят был Ксюшиным Интернетом). И вот – звонок. Трубку взяла Нина.

– Да.

Слушала секунд пять, вновь чернея лицом.

– Да?!

Слушала еще секунд десять. Лешка вскочил, уже поняв, кто это. Только я ни черта не понял, главное, мне было неясно, что он собирается делать. Зато Ксюше все стало ясно вмиг, и она бросилась наперерез отцу. Всех опередила Нина. С криком: «Ну, уж нет!» ринулась к балконной двери, вмиг отворила ее, размахнулась, швырнула трубку во двор.

– Вот так! – произнесла победно и удалилась в комнату.

– Мама, ты что?! – свистящим шепотом спросила Ксюша и вылетела с кухни следом, но уже через полминуты метнулась на улицу искать трубку. А Лешка все это время стоял столбом. Я, признаться, тоже, зато начал потихонечку понимать происходящее и поинтересовался:

– Она что, не могла позвонить позже на сотовый?

– Зачем? – скривился Лешка. – У нас все равно каждый день что-нибудь подобное происходит. Поехали.

– А это удобно? – спросил я растерянно.

– Уехать из дома, где трубками телефонными бросаются? Пошли быстрее.

Уже одетые, мы столкнулись в дверях с Ксюшей.

– Не работает, – выдохнула девушка.

– Понятное дело, – процедил Кречет. – Вообще-то метание в сугроб инструкцией не было предусмотрено.

Потом достал бумажник вынул сотню и протянул дочке:

– Завтра купи, пожалуйста, новую трубку. И ложитесь спать пораньше. Мы поздно вернемся.

Я не спросил, куда мы едем. Лешке, похоже, было все равно, мне – тоже. Место выбирала Тамара, перезвонившая буквально через пять минут. И оказались мы в солидном ночном клубе, уютном и почти пустом по случаю буднего дня. Тамару повстречали у дверей заведения, и она мне сразу понравилась. Лет на пятнадцать моложе нас, не красавица, но обаятельная, не худенькая, но стройная, подтянутая, складненькая такая, а любовь, преданность, желание отдать всю себя прямо светилась в ее глазах – мечта любого мужика. К тому же с первых реплик в разговоре мне стало ясно, что она еще и не глупая. Потом узнал: Тамара – врач-гинеколог, четыре года работает в хорошей клинике, при этом у нее неплохая эрудиция, прекрасное умение общаться и еще не остывшее, почти юношеское любопытство ко всему на свете.

– Ты любишь ее? – спросил я Кречета, когда мы ненадолго остались вдвоем.

Лешка думал ровно три секунды.

– Нет. Она меня любит. А мне просто очень хорошо с нею. А с Ниной в последнее время мне стало тяжело. Я никого не люблю, Мик. Только себя.

Вот, наверно, и все, что он скрывал от своей подруги. Об остальном мы говорили вместе – о Нине, о Ксюхе, о друзьях, обо всех проблемах, включая политические. А на маленькой полукруглой сцене вертелись вокруг шеста две роскошные стриптезерки. Работали они отлично и настраивали на лирический лад. Так что разговор о вселенских тайнах ну никак у нас не получался. Лешка беспрерывно курил, медленно потягивал коньяк, и упорно изливал мне душу, сворачивая с любой темы на дела сердечные и давая понять, что судьба Причастных, чекистов, Третьей силы и вообще всей цивилизации волнует его куда меньше, чем собственный любовный треугольник. Кого-то это мне напоминало! Не далее как в конце весны, я точно так же вел себя в разговоре с приехавшим ко мне Вайсбергом. Но у меня-то была так, легкая интрижка, а потом изысканный домашний деликатес с ароматным перчиком специально заказанной измены. А тут все случилось по-взрослому: обе женщины воспротивились делить Кречета, каждая тащила одеяло на себя, и одеяло это уже трещало по всем швам. Еще какой-нибудь месяц, если не меньше и все вокруг заорут: «А король-то голый!» (В смысле голый Кречет под разорванным надвое одеялом). И Лешка терзался от дурных предчувствий. Он и жить так больше не мог, и разводиться не мечтал совершенно, а уж тем более жениться

по новой. Он просто хотел, чтобы его оставили в покое, но ситуация в последние полгода развивалась по нарастающей: от телефонных перепалок – к попытке суицида (Нина в сентябре глотала таблетки, насилу откачали ее), от хождений ко всевозможным колдунам до попыток обеих женщин заказать киллера друг для друга...

Да, вынужден был признать я, это уже не просто литература – это настоящий мистический триллер. И Лешка не видел выхода из сложившейся ситуации. Никакие деньги и никакая власть в подобном положении не помогали, и тоску он на меня нагонял жуткую.

Господи, зачем я только сюда приехал?

И вдруг после очередной порции коньяка Кречет все же сподобился сделать паузу в душеизлияниях и неожиданно выдал, наклонившись ко мне и перейдя на заговорщицкий шепот (Ага! Значит, и еще кое-что скрывает он от Тамары...):

– Хочешь знать, кто он, твой любимый Эльф?

Я молча кивнул, ожидая нетривиального продолжения. И услышанное мною превысило все мыслимые ожидания.

– Он – не совсем человек. Он – один из наших, то есть из Посвященных. Ты слышал что-нибудь о Братстве Посвященных?

– Нет, ничего не слышал, – признался я честно.

– Значит, настало время услышать. Если Владыка Чиньо в Киеве, значит, действительно пора.

«Владыка Чиньо! – молнией сверкнуло у меня под черепом. – Так его называли на том странном сборище, посылавшем на смерть таинственного Юру Семяцкого. Кассета, привезенная Тополем и спаленная в моем камине, неясные, тревожные мысли, взбаламутившие меня в тот вечер... Стало быть, эти самые „владыки“ и величают себя Братством Посвященных. Тогда я кое-что знаю о них, только поздно уже рассказывать. Пусть Кречет расскажет.

Ну, он и рассказал. А я слушал, и в голове вертелось лишь одно: да, от любви, конечно, сходят с ума, но я бы никогда не подумал, что это происходит так быстро и так серьезно, а тем более с кем – с прожженным циником Лешкой!

Я не верил ему. Да и как было поверить?

Картинка вырисовывалась примерно следующая. Посвященные – это такие люди, которые в принципе умеют возвращаться с того света. Удастся не всем, но есть профессионалы. Эльф – один из них. Он расставался с жизнью и благополучно воскресал уже девятнадцать раз. И это среди Посвященных своеобразный рекорд. Так что вовсе не на смерть его посылали. А на очередное, да непростое, но вполне обыкновенное для этого типа задание. И то, что теперь Семяцкий живет в Москве под чужой фамилией, сидит тихо, как мышь, и ни во что не суется, – это для всего мира счастье великое. И мне, как человеку, едущему в российскую столицу, перво-наперво следует знать: у Посвященных свои законы, они без нас между собой разберутся, а влезать в их внутренние разборки обычным людям *невозможно* (Кречет так и сказал – *невозможно* – с нарочитым нажимом на этом архаичном слове).

– Никому *невозможно*, – повторил он, – никаким Причастным и даже Деепричастным. Иначе – беда.

– Плоско шутишь, – поморщился я. – Да и концепция бессмертия, скажу тебе честно, слабенькая. Кажется, у Егорки Стульева лет пятнадцать назад была такая повестуха, так, если помнишь, мы на ней дружно потоптались тогда в Дубултеевке.

– Брось, у него фэнтезюха была, про рыцарей, – мгновенно вспомнил Лешка и повесть Стульева, и шутовское название нашего семинара, улыбнулся ностальгически. – Между прочим, я в Малеевке так и не был ни разу, только в Дубулты... – Потом словно проснулся. – Но я тебе не про фэнтези говорю, я говорю про жизнь. Про самую серьезную угрозу для жизни планеты. Цивилизация в опасности.

Прозвучало ужасно нелепо, и я не мог не спародировать последнюю фразу:

– Социалистическое отечество в опасности. У Ильича была такая статья. Правильно?

– Социалистическое отечество в опасности, – тупо повторил Лешка и не справился с первым словом, получилось что-то вроде «социстительское».

Господи, да он же пьян! Хорошо, что Тома вышла куда-то в этот момент.

Я взял Кречета за плечи, встряхнул его и предложил:

– Ол, давай еще по сто граммов, и поехали отсюда. А в дороге ты мне спокойно признаешься, что все это было шуткой.

– Не совсем, – уклончиво ответил Лешка и хитро улыбнулся, на глазах трезвея. – Я думаю, вот как надо: ты напиши на эту тему роман. И напечатай его. Тебе все равно в Москве делать нечего будет. Егорка Стульев – хороший человек, но у него не тот класс. А у тебя получится написать про Посвященных. Причем ты пиши все, как есть, даже имен и дат изменять не надо. А по фактическому материалу тебе помогут. О'кей?

Я насторожился:

– Это что, задание?

– Нет, просто совет.

И он шелкнул пальцами, заказывая очередную порцию любимого коньяка «Давидофф экстра олд».

Потом вернулась Тамара, и мы до самого отъезда вновь говорили о делах сердечных.

На обратной дороге Кречет попросил меня сесть за руль, его что-то совсем разморило. Куда ехать, объясняла Тамара. Мы проводили ее до подъезда в унылом новом квартале занесенных снегом пятиэтажек, Лешка чуть-чуть взбодрился, но все равно остался на месте пассажира и до самого дома кемарил. И только уже перед сном, это было часа в четыре, когда мы вышли на застекленный балкон выкурить по последней сигаретке, разговор вернулся к главной теме.

– Ты сказал, если я встречу с Эльфом – быть беде. Я правильно понял?

– Да, – кивнул Кречет, – тебе нельзя с ним встречаться. Вообще не стоит вступать в контакт с Посвященными. Наши люди постараются отслеживать это. Лозова твоя в курсе. И Форманов – тоже в курсе. Но от случайностей никто не гарантирован. Вот почему сегодня я уполномочен предупредить тебя лично.

– И ты сам – Посвященный? – любопытствовал я, делая вид, что поверил во всю эту фантастическую ахиною.

– Нет, – ответил он предельно серьезно, – в том-то и дело, что нет. Они меня втянули в свои игры. Это случилось очень давно, и назад уже нет дороги, но я такой же простой смертный, как и ты, только знаю намного больше. К сожалению, – добавил он после паузы.

– Вернемся к случайностям, от которых никто не гарантирован, – напомнил я. – Какая именно нас ждет беда?

– Да очень простая, – сказал Лешка. – Тот самый конец света.

– Ну, это не страшно, – улыбнулся я. – Шактивенанда уже пугал однажды, а потом сам прилетел на голубом вертолете, и все закончилось цирковым номером на калифорнийском берегу Оманского залива в городе Твери Киевской губернии, Берлинского уезда. Не говоря уже о том, что конец света все равно наступит со всей неизбежностью, если верить тому же Шактивенанде.

– А разве ты веришь? – быстро спросил Кречет, терпеливо выслушавший всю мою абракадабру.

– Нет. А ты?

– А мне не надо верить – я просто знаю, что все так и будет. Конец света, ожидаемый через год с небольшим, – это всего лишь укол. Тонюсенькой иголочкой и под наркозом. Боли никто не почувствует. А мир получит смертельную дозу яда, медленно действующего яда. Насколько

медленно? А вот это и будет зависеть... – он замылся, – ...в частности, от тебя. В значительной степени от тебя, – добавил он с нажимом.

– Перестань. – Я ощутил препротивный холодок под рубашкой, словно какие-то скользкие, мокрые твари поползли у меня по спине. – Перестань, Ол.

– Хорошо, Мик, пошли спать.

Поздний завтрак в безумном семействе Кречетов прошел на удивление тихо и мирно. Если не считать, что Лешку выдернули из-за стола срочным звонком то ли премьера, то ли Председателя Верховной Рады, и он, не допив кофе, кинулся завязывать галстук и скидывать на дискету важную информацию из компьютера. В общем, до аэропорта меня взялась подбросить Нина, так что всю дорогу по городу и по трассе я был вынужден слушать новую версию их семейного конфликта.

«Все это было бы смешно, когда бы не было так... страшно». Разночтения получались более чем существенными. Мало того, что Нина, разумеется, не изменяла Лешке и даже не помышляла об этом, так ведь оказалось, что Кречет еще и спит регулярно со своей секретаршей Марьяной; и, тем не менее, это именно он наглотался в сентябре таблеток до полусмерти, а еще раньше собирался стреляться, Нина же никаких киллеров не заказывала, зато в августе вскрывала себе вены и даже продемонстрировала мне довольно выразительный шрам на левом запястье. Я окончательно запутался в этой истории. А если еще учесть, что и Тома успела мне рассказать кое-что свое, пока Лешка дремал в машине, то получался уже чистой воды Акутагава. Есть у него такой замечательный рассказ, где пятью участниками излагается пять версий одной и той же трагедии, а какая из них правда, не знает и сам автор.

В Борисполе мы с Ниночкой нежно попрощались, оставаясь лучшими друзьями, ведь я сумел не обидеть ее ни словом, ни взглядом. Но, проводив глазами печально-лиловый «сит-роэн», я шумно выдохнул и с облегчением закурил.

С неба падали легкие снежинки, но теперь эта не ко времени наступившая зима уже скорее радовала меня. Я еще от Кречета созвонился с Белкой, поэтому знал, что она вместе с Андрюшкой встретит меня во Внукове. Шереметьево было бы, конечно, лучше. Ну, да черт с ним! Главное, я, наконец, возвращаюсь домой. И совершенно мне не хотелось звонить «древовидным» друзьям – ни Тополю, ни Кедру, ни даже Вербе. То есть, почему даже? Вербе в первую очередь звонить не хотелось. Зачем она мне теперь? Я возвращался к прежнему московскому семейному счастью, с любимой Белкой и сыном. Я буду писать новый роман, я найду интересную работу, я обзвоню всех друзей и обойду все места, «где был счастлив когда-то...»

От этих примитивно-радужных мыслей меня отвлек очень высокий человек в шикарном черном пальто и тоже черной, но легкой, совсем не по погоде шляпе, надвинутой на глаза. Он вынырнул из снегового тумана, словно какой-нибудь старик Хоттабыч, прошедший сквозь стену, и я сразу почувствовал неладное. А ведь у меня даже пистолета с собой не было. Я же теперь простой мирный гражданин, строго соблюдающий правила авиаперелетов. Господи, о чем я думал? Разве от того зла, что угрожало мне теперь, можно отстреливаться? Ну, если только серебряными пулями...

Передо мной стоял Стив. Владыка Чиньо. О, как же я мог забыть о назначенной им *обязательной* встрече?

– Добрый день, – сдвигая шляпу на затылок, *чинно* поклонился Чиньо (аллитерация, прошу заметить, нарочитая).

– О! – восхитился я. – Мы говорим сегодня по-русски, Владыка Чиньо?

– Да, бодхисатва.

– Кто, простите? – я надеялся подколоть его, но проиграл и этот раунд, опешив от его непонятного обращения.

– Ну, друг мой, стыдно не знать классического буддизма. Но вы еще молоды, и вам про-
ститительно. Вот, возьмите это, и тогда многое станет понятнее.

Он протянул мне изящную кожаную папку, оказавшуюся, впрочем, достаточно увеси-
стой.

– Что здесь? – поинтересовался я. – Не зазвенит в «рамке»?

– Не должна, – сказал Стив. – Это всего лишь рукопись, которой вряд ли заинтересуется
таможня. А вот вы почитайте, почитайте.

– Зачем? – я вновь становился агрессивным.

– Все очень просто, Микеле. Помните Давида Маревича? Вы познакомились с ним в
точке сингулярности...

Я вздрогнул, потому что Маревича этого помнил слишком даже хорошо. Все, что проис-
ходило там, было записано мною досконально и перечитано много раз. Именно Давид расска-
зывал о том, как его убили в 91-м, и как теперь он оказался вот тут, с нами, в 99-м.

«Маревич – Посвященный!» – мгновенно щелкнуло в голове.

– Так вот, – продолжал Чиньо, – здесь его дневник. Давид хотел, чтобы вы его опубли-
ковали под своей фамилией. Как фантастический роман.

– Ничего себе! Давид сам просил вас об этом? – спросил я с трогательной наивностью,
словно какой-нибудь Шурик из «Кавказской пленницы».

– Ну, разумеется. Он не профессиональный писатель. Над текстом придется поработать.
И знаете что, желательно вести рассказ от третьего лица и не менять, ни одного имени, ни
одной фамилии. Ни одной.

Я чуть было не сказал, что все это уже слышал от Кречета, но потом передумал и дураш-
ливо козырнул:

– Будет сделано.

– Это очень важно, Микеле, – тяжело вздохнул Чиньо.

Тогда я совладал с улыбкой и, насколько мог серьезно, произнес:

– Честное слово. Я готов написать этот роман. Честное слово.

– Ну, вот и славно, – искренне обрадовался Стив, – теперь идите. А то уже регистрация
заканчивается.

Я протянул ему руку. Мы расставались друзьями, я сам удивлялся тому, как это получи-
лось, но Чиньо решил все испортить. Он догнал меня у самого паспортного контроля.

– О, Боже, которого нет! – несколько странно воскликнул он. – Чуть не забыл.

Хитрец! Разве такие люди что-нибудь забывают?

– Возьмите еще вот это.

Маленький желтый конверт. Не заклеенный. И в нем – ну да, фотография, обгоревшая
с двух углов. Слишком хорошо знакомая мне фотография.

– Что это? – глупо спросил я.

– Ее нашли на месте взрыва в Гамбурге. А Верба просила передать лично вам. Просто
потому что это именно *ваша* фотография.

– В каком смысле? – обалдел я.

– Вам виднее, – Чиньо пожал плечами...

...И все. Затерялся в толпе.

А с обгорелого фото мне улыбалась запредельно эротичная рыжая бестия – Светлана
Петрова, с которой я даже не был знаком, но, черт возьми, уже вхлопался из-за нее в какую-
то зловещую историю.

Ну, совершенно не нужна она мне сегодня, ну, никаким боком не нужна! Господи! И
причем здесь Чиньо? Причем здесь Эльф? Причем здесь Верба, наконец? Что они придумы-
вают? Ну, ладно бы Татьяна хоть свою фотографию присылала, а то какой-то мистический
гибрид всех моих женщин. А ведь именно так я и воспринял впервые этот загадочный и пре-

красный образ, из-за которого почему-то сходили с ума те двое, спаленные в адском пламени гамбургского взрыва...

И все-таки я позвонил Вербе. Злой, как черт.

– Татьяна, что за хреновину ты мне прислала?! – я орал по-английски и в оригинале оно звучало куда грубее.

– Остынь, дорогой, – проворковала Верба. – Ты не потерял папку с делами обитателей Покровского бульвара? Вот и вложи картинку в нее. Верни на место. Какого черта, спрашивается, ты дарил фотографию Рыжиковой Дитмару Линдемманну? Прозаик, ты сам все запутал. А получилось в итоге очень смешное совпадение. Эта Светлана, как две капли воды, похожа на Нику, жену Линевича и любовницу Эльфа. Понимаешь? Сходство точнее, чем у тебя с Малиным.

– Милое сравненьице, – проворчал я, – не многовато ли двойников на один квадратный километр?

– Мне тоже кажется, что многовато, а Кедр уверяет, что все нормально.

– Передавай ему привет, – буркнул я уже относительно мирно.

И тут меня поторопили. Оказывается, я задерживал всю очередь на паспортном контроле.

– Проходите, гражданин.

– Oh, excuse me, please!¹

И я шагнул вперед столь торопливо, что споткнулся о чью-то сумку и едва не упал.

Когда мы переступили порог квартиры, где теперь предстояло жить долго и счастливо, я сразу спросил:

– Ну, и как тебе, нравится?

– По-моему, здорово, – откликнулась Белка. – Потолки высоченные, роскошная полукруглая стена – ну, прямо зала для танцев, вообще воздуха в доме много и света. А холл, ты посмотри, какой холл просторный!

– Это ты мне рассказываешь? Я тут жил, – улыбнулся я. – Или это был не я?

– Это был не ты, – охотно согласилась Белка. – Это был Малин со своей Вербой. – И неожиданно спросила. – А ты больше не будешь мне изменять?

– Не буду, – шепнул я. – Никогда не буду тебе изменять. Я люблю тебя, Бельчонок!

Обнял, прижал к груди, задохнулся от нежности, но уже в следующую секунду внезапно ощутил дискомфорт. Зачем она так прямо спросила? Зачем я так наивно и бессовестно ответил? Ведь это же ложь. По определению. Да, у нас настоящая любовь, проверенная временем, обоюдными изменами, страданиями и даже пережитым ею кошмаром моей мнимой смерти. Но... никогда не говори «никогда». По-английски это звучит эффектнее. Кажется, какой-то из фильмов про Джеймса Бонда так и назывался: «Never say never». Это золотой принцип, его следует исповедовать каждому, даже совсем молодым людям, а уж таким, как мы, опытным бойцам любовного фронта – и подавно. У меня были строки, посвященные Белке пятнадцать лет назад:

Я не могу любить тебя всегда
Любить всегда возможно только в сказке
Не удивляйся, если мало ласки
И если вдруг я мрачен – не беда...

¹ О, простите, пожалуйста! (англ.)

Весьма удачное стихотворение. Там еще был эпиграф из «По ком звонит колокол» Хэма, насчет того, что нельзя одновременно любить и стрелять из пулемета. Но, конечно, я лукавил, точнее, намеренно закладывал в первую строчку двусмысленность: нет, не о пулемете и не о пишущей машинке шла речь – просто о реальном взгляде на жизнь. Вот так на заре наших отношений я сумел схватить самую суть будущей долгой и счастливой совместной жизни. Ну и зачем же теперь потянуло на слюнявую романтику? Осталось только выдохнуть горячо о том, что любовь сильнее смерти, подкрепить это оригинальное утверждение строчками пронзительной средневековой лирики, скажем, из Марии Французской или Бернара де Вентадорна и – все... можно спокойно ехать покупать мебель.

Я удержался от продолжения. От самоиздевки вслух тоже, впрочем, удержался и переключил разговор на другую тему:

– Мне кажется, я вернулся в Москву для того, чтобы снова начать писать. Не по-английски и не о политике. Я хочу сочинять простые хорошие книжки о простых и хороших людях.

– И все равно это будет фантастика, – подколола Белка. – Ты ничего другого не умеешь.

– Ну, если действительно писать о хороших людях, то это и вправду будет фантастика, – улыбнулся я грустно.

– Фу, каким ты стал пессимистом. А у меня просто отличное настроение!

К моменту этого разговора Белка еще ничего не знала о пресловутом дневнике Давида Маревича, а я так сразу подумал: «Маревич был хорошим человеком, да, хорошим, но совсем не простым. Зачем я обманываю себя?» И еще подумал: «А можно ли будущий роман назвать фантастическим?» Но ничего этого я не сказал вслух, не хотелось портить отличное настроение. И просто спросил:

– Ты веришь, что я напишу удачную книгу?

– Конечно, верю, – улыбнулась моя славная Белка. – У тебя все книги удачные, особенно те, которые написаны дома. Ты посмотри, посмотри вокруг – как тут здорово! Мне ужасно нравится в этой квартире, в этом районе...

– ...в этом городе, в этой стране, на этой планете, в этой Га...

– Перестань, Мишка, скажи лучше, сколько понадобится времени, чтобы перебраться из отеля в наше новое уютное гнездышко?

Я призадумался:

– Недели, думаю, хватит. Евроремонт уже сделали. Вопрос только в обстановке и прочих мелочах.

– А знаешь, что меня радует здесь больше всего?

– Вид из окна, – предположил я.

– Почти угадал. Меня радует этот переулок, и уютные дворики, и окрестные бульвары. Здесь чудесное тихое место, почти как у нас, на Бронной. А кстати, почему мы не вернулись туда? Твой Горбовский не мог организовать возврат нашей старой квартиры?

– Горбовский мог все, но так было надо, – пояснил я с нажимом на последнее слово и не удержался от горькой усмешки. – Да уж, тихое место...

Белка словно не услышала иронии, и я пояснил:

– Первая граната разорвалась в этой квартире весной девяносто второго. А уже более серьезная бомба – в декабре девяносто пятого, за минуту до того, как мы встретились с тобой в бэтээре после четырехмесячной разлуки. Помнишь?

– Помню, – кивнула Белка, хмурясь. – Зачем ты сейчас ворошишь тот давний кошмар? Я же все равно не видела тогда ни дома, ни даже переулка. Я все это помню только с чужих слов. Да, в этой квартире творилось черт знает что, но это было давно, в какой-то совсем другой жизни. Ведь правда?

– Правда, – я согласился. – Только уютное гнездышко еще раз взлетало на воздух спустя два года.

– Что ты хочешь сказать? – Белка совсем помрачнела. – Что эта квартира будет вечно взрываться? Она кем-то проклята?

– Нет, – ответил я совершенно серьезно. – Как раз наоборот. Наше уютная норка в старинном Лушином переулке исчерпала лимит чудовищных несчастий и теперь станет обителью тихих радостей и творческих взлетов. Я это знаю наверняка.

Господи! И что же меня так тянуло на торжественные клятвы и обещания? Словно я так и норовил сглазить. Накликать беду. Нарваться на крупные неприятности...

Очередную возникшую в разговоре паузу, нарушила теперь уже Белка еще одним резким поворотом темы:

– Слушай. Давай возьмем собаку! У меня так давно не было собаки!

«Приехали, – подумал я. – Неужели вездесущий Стив успел окучить и Белку? Да нет, случайное совпадение. Нельзя сейчас спрашивать об этом. Нельзя...»

Услышав советы Чиньо там, в Киеве я сразу поклялся сделать все наоборот, и вот теперь понял, что не удастся. Моя любимая жена действительно хотела завести собаку, и отказать ей в этом было бы просто жестоко. Да и вообще глупо.

– Бордосского дога, – откликнулся я, не слишком затягивая паузу.

– Нет, – возразила Белка решительно. – Я знаю, что ты всю жизнь мечтаешь о псине размером с лошадь, но такое животное не для города. Где ему тут бегать? Нет, нет, собака должна быть средних размеров, с универсальными характеристиками, то есть никаких крайностей. Ты же знаешь, я люблю не догов и не мопсов, а самых собаческих собак.

– Дворняжек, что ли?

– В том числе, но не обязательно. Просто должна быть длинная морда, нормальные уши и полноценный хвост. Например, далматин.

– У Тимофея Редькина был далматин, – вспомнилось мне.

– Кто такой Редькин? – спросила Белка.

– Предыдущий владелец этой квартиры. Нет, далматина брать нельзя, – я решительно подвел черту. – Это значило бы искушать судьбу.

Теперь уже Белка криво ухмыльнулась:

– Все вы сумасшедшие в этой вашей службе ИКС. С Редькиным что-то случилось? Ты был знаком с ним?

– Шапочно, – кивнул я. – Ты его тоже видела, хоть и говоришь, что решительно ничего не помнишь. А случилось с нашим Тимофеем много всякого. Только, знаешь, Бельчонок, это слишком, слишком серьезная история. Давай как-нибудь в другой раз. Сейчас не хочется.

– Не хочешь – не рассказывай, – пожалала плечами Белка. – Давай покурим и поедем.

– Давай.

Я закурил еще одну сигарету и отправился путешествовать по квартире, изучая каждый ее уголок внимательно, как сотрудник секьюрити, готовящий встречу важных людей. А Белка пошла в другую сторону и разглядывала что-то свое.

Встретились мы вновь на гулкой от отсутствия мебели кухне, и выяснилось, что Белка так и размышляла все это время о собаках.

– Я придумала, – сказала она, – давай возьмем лабрадора. Прекрасная многопрофильная и очень устойчивая порода. И обязательно сучку. У меня всегда коты – мальчики, а собаки – девочки.

– Отличная мысль, – согласился я.

На самом деле мне было все равно, и чтобы Белка не заметила этого безразличия, я тут же спросил:

– А кличку-то какую дадим?

– Капа, – мгновенно ответила Белка, словно уже давно, перебрав все мыслимые имена, остановилась именно на этом.

– Капа – это такой загубник у боксеров, в сечении напоминает одноименную греческую букву.

– Нет, – возразила Белка. – Капа – это сокращение от Капитолины.

– Ну, если так, тогда я согласен. Капитолийский холм, «Капитал» Маркса, капремонт...

В общем, капитальная собака для солидных людей с капиталом.

Меня, признаться, искренне радовало, что Белка думает о зверях, а не о взрывах и страшных тайнах. Какая разница – заводить бордосского дога или ливретку, девочку или мальчика? Назвать собаку Капой или Шляпой? О чем она говорит, Господи? Да заводи ты хоть старого крокодила по кличке Гроб!

«Все будет хорошо, милая», – бормотал я мысленно.

«Все будет хорошо», – убеждал я уже не столько ее, сколько себя.

Меж тем тоненькое, еле слышное, но гадостное предчувствие, словно комариный писк, зудело где-то глубоко-глубоко на самом доньшке моей израненной души. Руки туда не дотягивались, и нечем было прихлопнуть мелкое и вредное насекомое. И это сильно мешало нашей общей радости. Отчаянно мешало.

А роман я начал писать в первую же неделю, еще до переезда, сидя ночами в шикарном номере «Балчуга-Кемпинского», любуясь в солнечные дни кремлевскими башенками и луковками, провожая глазами лениво плывущие по не замерзшей еще Москве-реке грязные льдины. Я писал книгу быстро, яростно, жадно. Нет, не только потому, что на родине и впрямь работает лучше. Были и другие причины. Посерьезнее. Я ведь не утерпел тогда, еще перед выходом на посадку папочку Стива раскрыл и заглянул в первую страницу рукописи... А как заглянул, так и читал, не отрываясь, до самой Москвы. Страничек там было не менее двухсот довольно плотного текста, но я не только успел дочитать до конца, я успел за каких-то полтора часа... Как бы это поточнее сформулировать?... Я успел придумать весь роман, который хочу написать. И я действительно уже хотел писать его, я уже знал, что просто не смогу не написать.

Тут вот какое дело, братцы. Еще не добравшись до последней страницы, на которой Давид описывал собственную смерть (уже хорошо, правда?), я с абсолютной ясностью осознал: никакой это не Маревич пишет, а я, лично я, Миша Разгонов все это и придумал, только давно-давно, возможно, в прошлой жизни, и успел уже подзабыть, а вот теперь вспомнил, причем вспомнил намного больше того, что вмещала в себя рукопись, и пока снова не потерял из памяти, мне просто необходимо было все это записать...

Ну, я и записал, потратив на работу добрых полгода. Скажете, это много? Да я в жизни своей так быстро романов не писал, тем более, что получилось вроде недурственно, основательно, добротнo, самому понравилось.

Спросите, занимался ли я чем-нибудь еще в эти полгода? Конечно, занимался. И непременно обо всем расскажу. Только попозже. А пока запомните меня в воздухе над взлетно-посадочной полосой аэропорта «Внуково», даже роскошную квартиру в Лушином переулке не надо пока представлять, считайте, что я туда еще не доехал. И познакомьтесь-ка для начала с тем, что получилось в итоге из дневников Давида Маревича.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ КАЖДЫЙ ЧЕТВЕРТЫЙ (Из дневников Давида Маревича)

*– Какая глупость, – сказал он. – Все, что от тебя требуется, это вынуть щеколду из тела, когда умрешь. Черт возьми, каждый делал это тысячи и тысячи раз. А то, что они этого не помнят, вовсе не означает, что они этого не делали. Какая глупость.
Джером Дэвид Сэлинджер. «Тедди»*

Глава первая ВЕРТЕП С БОГИНЕЙ

Все получилось очень нескладно. После первого захода в парилку мы даже еще не сделали по глотку, а только открыли одну бутылку пива, когда в замке с шумом повернулся ключ и, бешено сверкая глазами, перед нами возник Витькин старший брат. Кричать он не стал, просто подозвал к себе Витьку, и я слышал, как старший с тихой яростью выговаривал младшему, что это все-таки восстановительный центр, а не римские бани, что пиво и сигареты здесь совершенно недопустимы, что девять человек для четырехместной сауны – многовато, что спасибо еще баб с собой не привели и, что в конце-то концов, он ему не первый раз все это говорит. Витька стоял, понуро опустив голову, и переминался с ноги на ногу, а мы, поняв, что сеанс окончен, стали потихонечку вытираться, одеваться и укладываться.

Витька догнал нас уже во дворе, когда вовсю дискутировался вопрос, куда теперь пойти и чем заняться. Аркадий предложил совершенно дикий вариант: махнуть к нему на дачу. Он крутил на пальце ключи от отцовской «Волги» и уверял, что шесть, а может, и семь человек в нее впишется. Но столько желающих не набиралось, потому что был четверг, а не суббота. Мишель сказал, что у него в квартире хоть и восемь комнат, а такую ораву он все равно позвать не может, дескать, их даже вахтер в подъезд не пустит. Навалились на Владика. У того как раз предки во Франции были, но Владик быстро отбрехался: оказалось, сеструха Клепа сегодня день рождения отмечает, а у него с Клеопатрой договор о невмешательстве в дела друг друга. Рестораны и кафе исключались сразу – с наличием оказалось неважно, – и народ совсем уж было загрустил, когда чувствующий себя виноватым Витька пригласил всех к себе в гараж. Идея принята была на ура, и мы еще успели до закрытия в магазин «Вино. Фрукты», где прикупили пару вермута и пяток «арбатского». А пива у нас с собой было много. Лично мне почему-то совсем не хотелось мешать его с вином, и словно Буриданов осел, я мучился теперь проблемой, на каком из напитков остановить свой выбор.

В гараже оказалось тепло и уютно. Стоваттная лампочка освещала чистые стены, бетонный пол и блестящего «жигуленка». Нашлась скамейка, пара стульев и табуретка, а двое сели в машину, открыв с одной стороны дверцы. Стаканов на всех не хватило. Пили по очереди, как старые друзья. Но вообще-то я чувствовал себя чужим в этой компании. Только Витька и Аркадий учились вместе со мной в школе. Остальных я узнал позже, и знакомство с ними было шапочным. Некоторых вообще видел впервые и даже не успел запомнить имен. Признаться, и со школьными своими товарищами встречался я теперь редко. Я был очень чужим в этой компании. Лишь общие стаканы и объединяли меня с ними. Может, поэтому вдруг захотелось стать пьяным. Чтобы все на свете сделалось проще и радостнее. А ведь на самом-то деле – к чему обманывать себя? – я радовался возможности иногда общаться

именно с этими моими одноклассниками, такими не похожими на меня. Когда я слушал их рассказы о жизни, совсем другой, далекой, незнакомой, манящей и отталкивающей одновременно, возникало странное сладковатое, тревожно-тоскливое чувство – нет, не зависти, а скорее удивления и растерянности, чувство прикосновения к запретному, словно в двенадцать лет попал на фильм для взрослых или подсматриваешь в чужое окошко. А ребята рассказывали свои истории небрежно, просто, не подозревая об их тайном (для меня) смысле, рассказывали, чтобы вместе посмеяться и тут же забыть. Ведь по большей части это были всякие веселые байки с изрядной долей вымысла. Никто не обижался, если говорили прямо: «Ну, это ты брешешь!» Или: «Все что рассказывает Аркадий – дели на восемь».

На этот раз слово взял Гоша, считавшийся самым талантливым в компании рассказчиком. Когда, хитро прищурившись и откинув со лба вихры, он произносил в очередной раз: «А вот у меня был случай...» – все, как правило, замолкали в почтительном ожидании. У Гоши действительно был талант: избегая лишних слов, четко строя фразы, выдерживая паузы и грамотно повышая голос где надо, он добивался порой поистине театрального эффекта. Аркадий, дослушав и отсмеявшись, традиционно говорил:

– Ох, Гошка, записывал бы ты все и относил в журналы! Народ бы стал читать, уверяю тебя.

– Это жизнь, братицы, – отвечивал обычно Гоша, – а всю жизнь не запишешь.

Витка наливал мне вермут в пластмассовый стаканчик, когда уже обслуженный Гоша медленно всосал свою дозу, вытер губы тыльной стороной ладони и с расстановкой произнес:

– А вот тоже был случай.

Витка даже наливать перестал, и у меня получилась урезанная порция.

– Один мой друг уехал в отпуск, – начал Гоша с весьма тривиального зачина.

И Мишель не удержался от продолжения:

– Вернулся – а жена в постели с водопроводчиком.

– Об этом в следующий раз, – улыбнулся Гоша. – А сейчас просто: уехал друг в отпуск и оставил мне ключи от квартиры. Мол, поливай кота, корми цветы и радио на кухне никогда не выключай – как бы жильцы все время дома. А за эту работу, говорит, можешь выпить все, что осталось в баре, я там, говорит, не допил чего-то. Что ж, спасибочки. А на дворе – лето. В Москве – ну никого! А я ж в одиночку не пью. Вспомнил одного приятеля – Мавра. Мишель его знает. Правда, Мишель? В Завидове, когда кабанов стреляли, он еще нажрался и под кустом уснул, ты должен помнить. Ну вот, звоню Мавру, а он говорит: я в ДНД, на Патриарших, и портфель у меня в милиции, а в портфеле, между прочим, бутылка хорошего молдавского коньяка. Да черт с ним, говорю, с портфелем и даже с коньяком – тут хата с богачейшим баром пропадает. Он долго ломался, но потом сказал, ладно, минут на сорок забегу. И притащил с собой еще одного чувака. Неплохо мы втроем посидели. Третий, правда, все время нервничал, говорил, что в ментовнице надо непременно отметить, а то институт телегу пришлют, но на бар косился нездоровым взглядом. А там, ну, то есть в баре – чего только не было: джин английский, коньяк французский, скотч опунительной выдержки, ром гавайский, текила мексиканская, бурбон, кальвадос, ну и полегче – «Мари Бризар», «Вдова Клико», «Черный доктор», «Утренняя роса», «Киндзмараули»... Сразу решили: напиваться грех. При таком-то ассортименте. Попробуем всего понемножку. Попробовали. Всего понемножку. Даже закусили чем-то. Мавр говорит: «Хрен с ним, с портфелем. Никуда не пойду. Давай еще по разочку. Из каждой бутылки – по маленькой». Повторили. Еще по разочку. Ну совсем по маленькой. Вдруг – звонок в дверь. Я как встал со стула, так сразу и упал. И Мавр следом за мной изобразил то же самое. А третьего с нами почему-то уже не было. Выползаем оба в коридор. Пока Мавр обнимал какую-то тумбочку, я напрягся, встал практически на две ноги и пошел по стенке, по стенке в сторону прихожей. И тогда – можете ли вы себе представить мое изумление и мой ужас? – стенка-то передо мною вдруг разверзается, как

«сезам, откройся», и я лечу в темноту. Полный провал памяти. Дальше всплывает вот что: больно и мокро в области ягодич. Сквозь редяущий мрак вижу: Мавр сидит рядом со мной и невнятно бормочет. Журчит вода, блестит изысканный итальянский кафель, а между нами хищно, как зубы дракона, торчат острые клинья разбитого унитаза. Потом снова раздался звонок, и мы с Мавром поползли дальше. За этим следует еще один провал в воспоминаниях, теперь уже до утра.

Утром обнаружили: срубили унитазик наш под самый корешок. Интересно, кто это сделал? В обед выяснилось. Пришел наш третий и все рассказал. Оказывается, он бегал за сигаретами и, вернувшись, два часа стоял под дверью звонил. Слушал, как мы там возимся и громыаем. Самое удивительное, что мы ему все-таки открыли. Нас он трогать не стал, а вот разбитую сантехнику вынес.

Без унитаза в квартире стало немного неуютно, но мы, однако, собирались там еще несколько раз, один раз даже с чувихами. Ссать ходили в ванну, очень весело было.

Но внутренние резервы бара оказались не вечными, пришлось переходить на «Фетяску», «пшеничную» и даже «Кавказ». А самое удивительное обнаружилось к концу месяца: кто-то вылакал французский одеколон, хотя в баре оставались-таки две-три недопитые бутылки. С одеколоном мы грешили на нашего третьего, он какой-то чудной оказался.

Ну а время меж тем летит. Приятель телефонирует из Паланги: надеюсь, все о'кей, целую, жди послезавтра. А унитаза-то нет! Мы ведь как привыкли: по-нашему, по-русски, – все в последний момент.

Звоню. Дефицит, говорят. Вот те на, ядрена кошка!

Накричиваю номер чуваку. Так, мол, и так. Он спрашивает: «Тебе какой? Финский?» «Да какой, говорю, к черту, финский – любой!» Тогда он дает мне телефон бригады и адрес. Дозвониться туда невозможно: там никого нет дома, а по временам бывает занято. Еду.

Теперь представьте себе темный, грязный, сырой подвал. Посередине – низкий стол, а за столом сидят угрюмые люди. По рожсам сразу видно – с тяжелейшего похмелья.

Объявляю:

– Нужен унитаз.

Один из них показывает рукой. Я смотрю и вижу: передо мной толчок образца одна тыща девятьсот двадцатого года, весь в засохшем говне, причем не только изнутри, но и снаружи почему-то. Аж коркой покрыт.

– Сколько? – спрашиваю.

– А сколько дашь?

– Трояк. А если помоеете – восемь.

Они все вскакивают. Поднимается суета. Собственно, их всего трое, но шум такой, словно работает целый цех. Они скрываются в соседнем помещении, и оттуда слышится сопение, злобные матюги, стук и плеск. Потом – страшный грохот: кокнули. Они выходят с такими глазами, будто мать похоронили.

Мне тоже обидно, но не последний же это унитаз. Вон, например, там еще один стоит.

И тут появляется какой-то очкарик. Пришел, понимаете ли, за ним. Это, понимаете ли, стоит его оплаченный унитаз. А унитаз в уголку такой чистенький, беленький, вполне современный, блестященький. Я на него давно уже глаз положил. Теперь рассусоливать некогда.

– Пятнадцать рублей за тот унитаз!

Мужики вскидываются. В глазах – свет надежды.

– Двадцать пять, если поставите. Такси туда и обратно.

Начинаются суетливые сборы в дорогу. Бедного очкарика никто даже не замечает. Потом двое все-таки остаются, чтоб урегулировать отношения с ним, а одного я беру с собой вместе с унитазом.

В дороге выясняется, что четвертак – он и в Африке четвертак, но неплохо бы еще и бутылку.

– Хорошо, – говорю, – литр спирту.

Чтобы сразу пресечь всякую дальнейшую торговлю. Накануне Мавр как раз припер из института спирт в жуткой химической бутылки из толстого рыжего стекла. Мы к нему даже не притронулись. Было много водки.

Приезжаем. Мужик смотрит. Чешет в затылке.

– Э-э, – говорит, – подставка-то не подходит. Посадочные размеры не те.

– Чем же ты, – говорю, – думал? Так твою и разэтак!

Опять звоню чуваку.

– Подставку под унитаза. За любые деньги.

Слова «любые деньги» производят на мужика магическое действие. Мы сходимся на сорока рублях, и необходимую подставку он извлекает, как фокусник, чуть ли не у себя из-под ватника.

– Налей, – говорит он.

У него дрожат руки.

– Ты же работать не сможешь!

– Конечно, не смогу, – говорит он. – Если не нальешь.

Ну, плескнул ему стакашку спирта.

Знаете, братицы, это надо было видеть. Он не устанавливал унитаза – он ваял его. Как Микеланджело. И новая скульптура идеально вписалась в интерьер пизжонского сортира моего приятеля. Я просто был в восторге. Я так проникся к этому мужику, что даже угостил его остатками вин из бара. А потом выдал обещанную бутылку и четыре червонца.

А закончилась история вот как. Мужик в тот день в бригаду не вернулся, хотя и обещал поделиться с корешами. Вернулся только дня через три и то лишь для того, чтобы скоммуниздить шпиндель от ротора. Шпиндель он кому-то загнал и загудел по новой. А еще дня через три его обнаружили в больнице.

Все слушали с большим интересом, и в ударных местах, коих было немало, до упаду смеялись. К эпилогу даже наступила некоторая усталость от смеха. В общем, на меня, совсем переставшего смеяться, никто не обратил никакого внимания.

«Вот сейчас Гоша закончит, – думал я, – и тогда я встану, подойду к нему поближе и дам в глаз». Трудно было бы придумать что-нибудь глупее. Я понимал это. Поэтому просто вышел на улицу. Якобы по нужде. С неба сыпался мелкий дождик, и было очень темно. Чуть поодаль, среди наваленного кучей мусора, в свете окон полуподвального этажа блестело что-то белое и округлое, похожее на человеческий череп. Я подошел ближе. Конечно, это был кусок разбитого унитаза.

Гоша интересно рассказывал, но уж больно много наврал. А всю концовку истории вообще придумал сам. Ведь ничего этого он не знал. И знать не мог. Как не мог знать и того, что выручивший его сантехник – мой отец.

В тот день отец пришел домой рано, хотя в бригаду заходил и мужикам десятку отдал, как договаривались, и даже выпил с ними. И был он совершенно пьяный, и, бросив на стол три красненькие, не раздеваясь, завалился спать, и мать плакала, как всегда, а я сидел и молча смотрел в окно.

Вот как все это было. А летом в Москве даже хронические алкоголики ватников не носят. А в бригадах сантехников не бывает ни роторов, ни шпинделей к ним.

– Зачем ты написал этот рассказ? – спросил его знакомый редактор из журнала «Знание – сила».

– Что, плохо? – вопросом на вопрос ответил Давид.

– Да нет, нормально. Только это никто не напечатает. Разве так отдыхает советская молодежь? Чему ты учишь подрастающее поколение в решающий год одиннадцатой пятилетки, когда родная Коммунистическая партия и лично ее генеральный секретарь товарищ Андропов борются за усиление трудовой дисциплины? У нас не любят разговорчиков на жаргоне, а со словами типа «говно», «ссать» или «скоммуниздить» ты должен расстаться решительно и навсегда.

– Слушаюсь, товарищ редактор.

– Вольно, товарищ писатель. А если серьезно, пиши лучше статьи по экономике и социологии. У тебя здорово получается. Я иногда просто недоумеваю: почти не врешь, а напечатать можно – как это? У тебя талант публициста, Додик. А в беллетристике ты как раз врешь. Чувствуется твое гуманитарное университетское образование, начитанность чувствуется, ну и мозгами Бог не обидел. А правды – нет. Ну, действительно, рассказ неплохой, а вся концовка – придумана. Придумана просто для эффекта и не слишком складно. Гоша твой – сочинитель. Ну и ты насочинял вроде него.

– Ну, это ты просто знаешь, что у меня отец не сантехник, – слегка обиделся Давид.

– Да нет, – сказал знакомый редактор, – какая разница, кто у тебя отец – не в этом дело. Любой внимательный читатель почувствует здесь неправду. Ты верно передал ощущение своего героя: этакий комплексующий пасынок развитого социализма среди потерянного поколения сынков. Сынков высокопоставленных чиновников. А вот сюжет пошел не туда. Не пиши беллетристику, Додик.

И больше Давид не писал рассказов. Действительно, зачем? Если его хитрые замыслы так легко разоблачает первый встречный профессионал. Он-то думал, что литература – это прежде всего сочинительство, а оказывается, надо просто писать правду. Но, пардон, какой же сумасшедший станет всерьез писать правду в этой стране? Или он сейчас не о том? А ведь он действительно не о том...

Отец Давида – Юрий Геннадиевич Маревич не был сантехником, но алкоголиком был. И Давид действительно чувствовал себя страшно далеким от мира своих прежних одноклассников из соседних цеховских и совминовских домов. Юрий Геннадиевич, историк по образованию, преподавал в школе, потом работал в издательстве, потом начались диссидентские дела, вызовы в КГБ, упрямство, закончившееся судом и ссылкой за тунеядство. Отмотав срок, отец еще пять лет жил на «сто первом километре», под Каширой. И только в семьдесят шестом, когда Давид уже заканчивал школу, ему удалось вернуться в Москву. К этому времени отец сделался совсем другим: молчаливым, дерганным, нелюдимым. И не пил. Никогда, ни грамма. Однажды только сорвался, и Давид все понял: отец теперь пьет по-другому.

Ушел в запой дней на десять, и мать едва не выгнала его из дома. Но тут как раз свершилось чудо: Давида приняли в университет, все как-то разом нормализовалось, отец нашел работу в отделе писем какого-то полунаучного журнала, а матери – она была тогда секретаршей у начальника райсобеса – прибавили зарплату в родной конторе. И три с небольшим года все катилось ни шатко ни валко с видимым благополучием, пока не наступил восьмидесятый год. В ту новогоднюю ночь отец сказал, что не может не выпить после ввода наших войск в Афганистан. Выпил. И больше не трезвел уже никогда. Умер он в самом конце восьмидесятого третьего в больнице.

А за три месяца до того, в ночь с двадцать девятого на тридцатое сентября случилось событие, значимость которого на тот момент мог оценить только сам Давид, да и то – разве он понял, что произошло на самом деле? Он только почувствовал: свершилось нечто, выходящее за рамки его персональной ответственности, его личных интересов, его внутреннего мира... Объяснять это все – абракадабра какая-то получается. Так как же мог он втолковать хорошему знакомому – умному и симпатичному редактору из «Знания-силы», зачем написан этот стран-

ный маленький рассказ. Разве он собирался его публиковать? Просто захотелось услышать мнение относительно постороннего человека о том, что вылилось тогда на бумагу. Вылилось произвольно. Уж очень хотелось записать, зафиксировать, оставить в веках последний день, последние часы... чего? Первой половины жизни? Обычного земного существования? Детства разума? Как это назвать? Он не знал. Да и мешало ему что-то.

Что именно, он узнает много позже и все поймет, а тогда...

Он не только не смог написать о событиях исторической для него ночи, но вообще намеренно, сознательно (или все-таки случайно, инстинктивно?) переврал даже то, что привело его к той ночи, словно разведчик, сочиняющий легенду, нет – словно птица, уводящая хищника от гнезда, и ему казалось, что придумал он очень здорово, что рассказ получился на славу, потому что ситуация выстроена и выстрадана, детали – правдивы до мелочей, а герои – живые. Ан нет! Редактор-профессионал вмиг учуял границу между документальным рассказом и вымыслом.

Давид испугался даже. Но глупый это был испуг, очень глупый. Это ж каких галлюциногенов надо было накушаться нормальному человеку, чтобы вот так ни с того ни с сего додуматься, догадаться, вообразить, что произошло с Давидом на самом деле!

А произошло следующее.

После Гоши, окончательно разлив вермут и перейдя на «арбатское», компания слушала Аркадия, который долго и бездарно, в основном весело хихикая сам, рассказывал (по ассоциации) о пришедшем к нему однажды телемастере, тоже, очевидно, пьяном и оттого навязчиво требовавшем у хозяина некую особенную отвертку, каковая, будучи найдена, в итоге не понадобилась. Собственно, в этом и заключался весь юмор. Ужасно смешно. И компания совсем уж было начала скисать, когда в оставленной Давидом широкой щели незакрытых дверей гаража появилась фигура Сереги Мавританова – того самого Мавра, которого так ярко живописал Гоша. Мавр зашел на удачу, не обнаружив друзей по домам. При себе он имел литровую бутылку шикарного испанского бренди «Сото» и встречен был ликующими воплями. Компания резко поделилась на две почти равные части: четверо, отказавшись или почти отказавшись устраивать дикий коктейль, разбежались по домам, ссылаясь на дела и самочувствие, а пятеро плюс шестой – Мавр с энтузиазмом взялись за уничтожение крепкого напитка, который благодаря качественному коньячному спирту основы и тонкому изысканному букету легко проскакивал без закуски. И когда бренди почти не осталось, Витька, предусмотрительно пивший немного, предложил:

– Вот что, мужики, по-моему, вариант, предложенный Аркашей, назрел.

– В смысле? – не понял Гоша, уже давно забывший, о чем шла речь.

– В смысле махнуть к нему на дачу, – пояснил Витька. – По дороге завернем на мою, а у меня там два литровых пузыря водки «абсолют».

– А телки? – спросил Мишель, всегда остро озабоченный сексуально, независимо от количества выпитого.

– Ты че, давно в Барвихе не был? Там с девочками не проблема, – со знанием дела заявил Гоша.

«Волгу» Аркашкиного отца решили не трогать – Витька предоставил свои «Жигули» из соображений удобства и вообще.

Неожиданно возникло осложнение. Стартер отчаянно крутился, грозя посадить аккумулятор, а двигатель даже не чихал.

– Погоди, урод, не крути, – сказал Аркадий. – Дай подумать, что это может быть.

Задумались все. Давид задумался тоже и внезапно почувствовал, что нет ничего важнее на свете, чем здесь и сейчас завести эту машину. Он никогда не был водителем и даже не изучал устройство автомобиля – так, где-то что-то слышал на уровне среднеэрудированного человека. А сейчас вдруг увидел свечи. Он четко представил себе их конструкцию, место расположения,

и ему ужасно не понравились покрытые копотью, совершенно черные и словно жирные от масла контакты.

– Витька, – проговорил он незнакомым самому себе голосом, – у тебя, наверно, свечи забросало.

Витька вздрогнул, потому что был трезвее других. Спросил удивленно:

– А ты откуда знаешь? Вообще, очень может быть. Вчера холодно было, я прогрелся долго, а потом забыл подсос выключить, так весь день и ездил.

– Ну, ты и козел, – ласково пожурил Аркадий, которого уже начало развозить. – Значит, ща вывинтим и будем прокаливать, это же как два пальца обоссать...

– Ну, тогда мы никуда не поедем, – заныл Мишель. – Фигня это все. Я пошел домой.

– Спокойно, ребята, – проговорил Давид все тем же замогильным голосом. – Не надо ничего вывинчивать, я их так почищу. Помолчите минутку.

Он еще раз представил себе эти аспидно черные контакты, мысленно надвинулся на них глазами и несколько раз с усилием моргнул. Веки его отяжелели, ресницы, казалось, загнулись внутрь и глаза отчаянно защипало. Но он уже видел, что дело сделано. Контакты заблестели праздничной чистотой надраенного металла. Давид крепко зажмурился, инстинктивно потер глаза кулаками. Потом отнял руки и с ужасом обнаружил полосы черной сажи на первых фалангах обоих указательных пальцев.

– Все? – спросил Витька полуиронично-полуиспуганно.

– Все, – сказал Давид. – Заводи.

Общее оцепенение прошло, но тишина сохранялась: все пятеро ждали, и каждый готовился выдать какую-нибудь плоскую остроту типа: «Факир был пьян, и фокус не удался».

Но фокус удался. Машина завелась, что называется, с полтычка. Все радостно загалдели и полезли внутрь, не выказывая особого удивления. Чего не бывает в жизни!

– Да ты у нас медиум, Дейв! – гоготал Аркадий, приобняв Давида.

А Гоша заметил:

– Деточка, все мы немножко медиумы. Особенно когда дадим стакан. Вот сейчас еще пузырь раздавим, и я начну глазами машины тормозить.

– Ты лучше пару клевых телок тормозни, – посоветовал Мишель.

А у поста ГАИ на Рублевке чуть было все не сорвалось. Длинный худошавый инспектор в белоснежных крагах взмахнул полосатым жезлом, и Витька, естественно, остановился. Других машин поблизости видно не было, и косить под дурачка, мол, товарищ милиционер, я думал это не мне, не представлялось возможным. Восемьдесят километров в час на правительственном шоссе превышением скорости обычно не считается, да и шесть человек в «Жигулях», в общем, ерунда, но придраться, конечно, могут к любому – такова селява – и пятерку на штраф друзья бы все вместе, безусловно, нашли. Беда была в другом: даже от Витьки, который вполне уверенно держал руль, пахло за версту.

– Ну что, ребята, – спросил Витька мрачно, – кто самый трезвый? Кто вместе со мной пойдет разбираться?

– Трезвых поищи в другом месте, – ответствовал Гоша. – А здесь нужен тот, кто отбрехаться сумеет. Посмотрите, мужики, у кого хотя бы паспорт с собой, чтобы щегольнуть фамилией. Постовой-то местный, не может наших предков не знать.

Все призадумались. Однако Мишель, портрет дедушки которого в числе четырнадцати высших лиц государства трудящиеся носили на демонстрациях по всем праздникам, не имел при себе даже студенческого билета. Витькин папа из ВЦСПС и отец Мавра – скромный союзный министр – для гаишника вряд ли высоко котировались. Гошины родители работали в МИДе, но, похоже, были теми еще дипломатами, а значит, фамилии их вообще глубоко законспирированы, так что наличие Гошиных документов рояли не играло. Некоторая надежда оста-

валась на Аркадия – фамилию одного из самых главных генералов МВД милиционер должен был помнить. Но уж больно пьян был сам Аркадий, а к тому же вместо мидовского пропуска любил он таскать с собой гэбэшную ксиву, то есть курсантский билет Высшей школы КГБ, а это не совсем те корочки, которые надо показывать ГАИ...

– Знаю я здешних ментов, – процедил Витька. – Бывает, на такого нарвешься, ни деньги, ни фамилия не помогут, им бы только дырку тебе проколоть и протокол составить. Тут один с Ирккой Андроповой ехал, так все равно штрафанули и права отобрали.

– Брехня, – вяло откликнулся Гоша.

– Не брехня, – возразил Мишель, – просто менты Андропова не любят с давних пор...

И пока они трепались, так и не решив, кому выходить на встречу со стражем порядка, страж подошел сам, вплотную подошел, нагнулся к Витьке и козырнул. Витька приоткрыл окошко наполовину и, не поворачивая головы, чтобы не дай Бог не дыхнуть гаишнику в лицо, протянул документы. Смешно это было: запах в машине стоял такой, словно бутылку водки, бутылку вина и пару пива равномерно разлили по всем сиденьям и по полу. Инспектор потянул носом воздух и уже приготовился что-то сказать, на ходу меняя тему своего выступления, но...

Давид, сидевший на заднем сиденье слева, успел открыть окно полностью, высунуться и окликнуть:

– Товарищ капитан!

Погоны он в темноте разглядел плохо, но какая разница, главное, чтобы оглянулся, главное – поймать глаза, а дальше... ему секунды хватит.

– Товарищ капитан, я – майор Мелентьев, начальник опергруппы Шестого управления МВД. (Что за чушь?! Почему шестого? Да и есть ли такое? Но «товарищ капитан» с лейтенантскими погонами – теперь он разглядел их – смотрит только на Давида и очень внимательно слушает.) У нас – спецзадание. Машина с частным номером – это конспирация. И запах алкоголя для камуфляжа. Очень важное спецзадание, товарищ капитан. Промедление в выступлении смерти подобно. (Ну, это уж он лишнее сморозил, это кажется, из Ильича. Но товарищ капитан проглотил – смотрит, слушает.)

Только не отпускать глаза, только не отпускать!

Инспектор медленно поворачивается, кося по-прежнему на Давида, возвращает документы Витьке, еще раз козыряет, опускает руку с жезлом, и все это молча и как-то нехотя, словно во сне. Наконец инспектор отводит взгляд, и Давид шепчет Витьке:

– Газуй, газуй быстро!

– Что ты ему сказал? – проснулся Аркадий.

На улице ветер. Никто ничего толком не слышал.

– Да так, – замялся Давид, – объяснил, что мы не очень простые люди.

– Дейв у нас медиум, загипнотизировал товарища, – улыбнулся Гоша, оборачиваясь с переднего сиденья.

Хорошо ему там, у него ноги длинные – вот почему Гошу пустили вперед. А Мавр, маленький, худенький, зажатый посередине, почти сползший на пол, заворчал:

– А на кой хрен его гипнотизировать? Менты – они же тупые. Помнишь анекдот, как милиционер проверяет, есть ли спички в коробке?

– Или этот, – оживился Мишель. – Встречаются два мента...

– Да пошли вы!.. – обиделся Аркадий – все-таки из семьи милицейского генерала, но обиделся беззлобно, напоказ, настроение-то у всех хорошее было, от души отлегло.

Только Витька молчал, он слышал лучше всех, от первого до последнего слова, какую лапшу вешал Давид на уши инспектору. И машину он водить начал раньше всех, а потому и понял: такого просто не могло быть. Впрочем, Дейв еще в школе слыл завзятым прикольщиком, любил всякие фокусы, розыгрыши, кажется, и гипнозом увлекался, какую-то старинную

книжку по технике внушения приносил – это точно. А теперь... они давненько не виделись, мало ли что он освоил параллельно за годы своей учебы на экономическом. В экстрасенсов всяких Витька особо не верил, но и прожженным скептиком себя не считал. Поэтому теперь он ни о чем не спросил Давида – просто вел себе машину и ждал дальнейших неприятностей. Да, да, именно неприятностей. Вот сейчас гаишник оклемается и кинется звонить на следующий пост. Обязательно позвонит. И тогда такое начнется! Страшно подумать. Оказание сопротивления должностному лицу при исполнении служебных... Не дай Бог! А отец спросит: «Ну и зачем ты брал с собой этого парня? Мало ли что в школе учились! Я тебе говорю: у тебя должен быть свой круг общения. Вечно какие-то электрики и шоферы в доме болтаются. Ты еще женись на уборщице! Влип? Сам виноват». Так оно все и будет, думал Витька.

Но пост у развилки проехали без проблем. И дальше – тоже, до самой дачи. А поганое чувство все не отпускало. И пока в гараж забегал за бутылками, и пока здорового черного терьера Бима, выбежавшего из темноты, трепал по голове и холке, мельком поглядывая на светящиеся окна второго этажа, где бабка с дедом, наверно, как раз садились чай пить. Не отпускало тоскливое тянущее чувство: как-то все неправильно, не так, не так. Поэтому одну бутылку открыл прямо на ходу, с треском разрывая фирменную пленку, натянутую поверх алюминиевой пробки, и глотнул жадно прямо из горлышка.

– Вот, мужики, одна неполная была, – доложил, возвращаясь, в машину.

А мужикам уже было все равно. Загудели, заокали, о-о! – зашелестели, потирая от нетерпения руки.

– Ну, тебя только за смертью посылать, – не избежал дежурной шутки Мишель, и все загоготали, вспоминая анекдот.

Аркадий, увидев роскошную водку, проснулся окончательно и начал шарить по карманам, звеня ключами и выбирая нужные.

Выпили.

А вот Давид выглядел плохо. Бледен был и смотрел в одну точку.

– Дейв, ты чего? – спросил Витька, снова ощущая тоску. – Водки тяпнешь?

Давид встрепенулся, как разбуженный, смешно похлопал ресницами.

– Не люблю из горла. И потом, закусить нечем.

– Это «абсолют-цитрон», ее даже запивать не обязательно. Вот тебе стаканчик. Хлопни.

Давид выпил. Водка была и впрямь удивительная. Лимонный ликер какой-то, а не водка.

Подумать только, что гады-буржуи делают!

Сели, тронулись дальше. Ехать осталось минут пять. Так сказал Аркадий. Но ехали они существенно дольше. Заплутали, что ли? Или это все уже смешалось в голове у Давида? Кажется, они еще раз выпили без закуски, когда выходили из машины. А потом опять куда-то поехали. Нет, потом они уже никуда не ехали – сидели в мягких креслах в очень теплой просторной комнате, звучала музыка, свет был приглушенный, а еще – много цветов в горшках и камин, и девушки какие-то танцуют, а он сидит полулежа с бокалом чего-то ароматного в руке, и ему хорошо-хорошо, так хорошо, что хочется заснуть, но стоит закрыть глаза, и он опять оказывается в «Жигулях», на темном петляющем через лес узком шоссе. Окошко раскрыто полностью, ветер свистит, хотя скорость черепашня, вкрадчивая такая скорость – километров пятьдесят, ведь повороты резкие, и темень хоть глаз коли, и после остановки у ГАИ перепуганный Витька осторожничает.

Как же так это все получилось? Как же так?

Давид знал, что иногда ему удастся то, чего не могут другие. Случаи были редкими, очень редкими. Он коллекционировал их, вспоминал, пытался сопоставлять и анализировать. Но никогда раньше он не умел управлять своими экстраординарными способностями. Сегодня получилось. Почему? Неужели теперь он станет настоящим экстрасенсом? А что – деньги нач-

нет зарабатывать. Какие, к черту, деньги, дурак?! Посадят тебя в закрытый институт и будут исследовать под микроскопом. Впрочем, он ведь станет сопротивляться, убежать. Так что никто особо не разгуляется – прихлопнут его, и все дела. Грустно.

Он вдруг с удивительной ясностью вспомнил самый первый из тех невероятных случаев.

Август. Скоро в третий класс. Считанные дни до школы. Почти все уже приехали с дач. Во дворе шумная веселая компания. Но сейчас мальчишки разошлись обедать, а его мама еще не позвала, он вдруг остался один.

Старый московский дворик, отделенный от улицы чугунной решеткой забора, небольшим флигелем с мезонином и воротами, давно не закрываемыми на замок по причине отсутствия штатного дворника. Как здорово было кататься на этих скрипучих воротах, где между вертикальными прутьями словно специально для детских рук и ног приварены были небольшие перекладинки. Между флигелем и глухой стеной соседнего дома заботливыми руками давних жильцов разбит был садик с цветочными клумбами, кустами сирени и жасмина, с детской песочницей и неизменной двухпудовой качалкой из цельнотянутых стальных труб. А в центре садика под сенью роскошного раздвоенного ясеня, служившего в зависимости от обстоятельств царским тронем, лошадьё, креслом пилота и чем угодно еще, возвышалась странная неизвестного назначения постройка – оштукатуренный и давно не крашенный кирпичный куб с ребром метра в полтора и с двумя заколоченными окошками. Именовался он в народе Колодцем, ибо доски от окошек вопреки стараниям местного жэка перманентно отдирали великовозрастные шалопаи, и только совсем-совсем нелюбопытные люди из окрестных домов могли не знать, что обшарпанный кубик – это лишь верхушка айсберга. Вниз под землю на страшную, по детским понятиям, глубину (а на самом деле, должно быть, метров на пять-шесть) уходила шахта с ржавыми скобами по стенам, и на дне Колодца имелась тяжеленная бункерного типа железная дверь, до середины своей скромной высоты заваленная всяческим мусором и словно на века замершая в чуть приоткрытом состоянии. Сквозь узкую щель, оставленную кем-то в безумно далекие времена, сквозил холодный и жуткий мрак, не побеждаемый никакими фонариками и самодельными факелами. О загадочном мире по ту сторону железной двери слагались легенды. По вечерам в сгущавшихся сумерках было принято рассказать какую-нибудь новую историю о мертвецах, сброшенных в Колодец и бесследно исчезнувших, или о гигантских разумных крысах, умеющих просачиваться в узкую щель приоткрытой двери. По вечерам – только рассказывать, а изучать Колодец возможно было исключительно при свете дня, улучив момент, когда вокруг нет взрослых и путь через окно открыт очередным добрым взломщиком. Собственно, уже для спуска на дно требовалось известное мужество, заглянуть в щель – это был следующий уровень сложности, а о том, чтобы разобрать мусор и попытаться открыть дверь, говорили, конечно, но так, как говорят об экспедиции на Северный полюс: мечтали, строили планы, обсуждали варианты последствий – это была дальняя, очень дальняя перспектива.

И вот в тот раз среди дня Додик вдруг оказался один во дворе. Один на один с Колодцем. Когда светило солнышко, Колодец становился совсем не страшным. Он бывал и дозорной башней, и капитанским мостиком на корабле, и фашистским дотом посреди поля, а зимой, навалив сугробы почти вровень с Колодцем, здесь играли в «царя горы». Страшный, не страшный, а что-то необычное было в Колодце всегда, древнюю тайну охранял он и днем и ночью. Он и склонившийся над ним старый ясень с раздвоенным стволом, с несколькими горизонтально протянувшимися ветвями – одна, огромная, шелестела прямо перед их окном на третьем этаже, а другая, поменьше, нависла над Колодцем совсем низко: кажется, чуть подпрыгнешь – и вот уже достал, зацепился, как за перекладину турника, и ветка прогнется, спружинит, и будешь качаться как обезьяна в джунглях, как Тарзан. Здорово! Но куда там – это только кажется, что допрыгнешь. На самом деле высоко. Однако с каждым годом он рос, а ветка (может, и вправду так было?) опускалась ниже. Позавчера, когда вернулся в Москву, залез на Колодец и почувствовал: теперь сможет. Допрыгнет. Точно. Зря он, что ли, в деревне столько

тренировался в прыжках с обрыва и лазании по деревьям! Только при ребятах не хотелось: вдруг опозорится. А теперь момент настал. Пока никто не видит...

И было такое ощущение, что какая-то теплая волна поднялась из таинственного Колодца, подхватила его, поддержала, и в волшебном прекрасном полете, в миг почти сказочного парения в воздухе он легко, как гимнаст за брусью, ухватился за ветку ясеня, оказавшуюся где-то на уровне груди... Разве такое бывает? Или это сон? Как он смог?.. Ветка, конечно, прогнулась и, конечно, спружинила: вниз – вверх, вперед – назад, а крыша Колодца – вот она – очень близко под ногами, того и гляди чиркнешь, даже не надо спрыгивать, отпустил ветку, и все – уже стоишь. Отпустил. Зашумела листва, умчалась вверх.

– Ништяк! Законско! Забойно! – Все известные восторженные восклицания вырвались у него сразу.

И захотелось повторить. Он смотрел наверх, как покачивается растревоженная ветвь, ждал, пока она остановится, и рассеянно переступал ногами. Все. Пора. Еще один прыжок в небо.

Р-р-р-а-аз!.. И кто-то схватил его за ногу. Резкая, обжигающая боль в лодыжке. Полная потеря ориентации.

Он падал не то что не сгруппировавшись, он падал даже не вжав голову в плечи. Падал, как манекен из папье-маше, опрокидывался, оставаясь ногами на краю Колодца, потому что правая ступня попала случайно в строповочную ржавую петлю и зацепилась, застряла там и только теперь, уже сломанная (растянутая? вывихнутая?), высвобождалась. А головой он упал точно, прицельно – на торчащее осколками вверх бутылочное доньшко.

После он осмотрел и это доньшко, и кровь вокруг. После. А тогда...

Тогда его не стало. Он был действительно уверен, что умер. По-детски это совершенно нормально так считать. Для детства не существует понятия «смерть» в чистом виде. В голове ребенка оно просто не может оформиться логически. Смерть как идея распадается на три приемлемые для понимания составляющие: всепоглощающий страх или боль, которую невозможно вытерпеть; внешняя картина гибели, наблюдаемой со стороны в кино или в жизни; и, наконец, индивидуальное ощущение потери сознания. Три эти ипостаси никак не связываются друг с другом, и потому практически любой ребенок не то чтобы верит, не то чтобы знает, а просто чувствует, что он бессмертен.

Больно, очень больно, страшно, потом... ничего не помню... и снова все вернулось – значит, умер и воскрес. Ничего особенного. Так со всеми бывает, просто не все хотят и не все могут рассказать об этом. Потому что не все воскресают здесь. Вернее, почти все воскресают не здесь. Вот в чем дело. Так он решил для себя тогда, и все было абсолютно ясно.

Ему повезло. Он воскрес там же, где умер, только в другой позе: сидел, прислонившись к стенке Колодца, и кровь заливала глаза. А боли уже практически не было ни на макушке, ни в ноге. Только ужасный страх сжимал сердце. Поэтому он вскочил и понесся домой. Взлетел на третий этаж, позвонил в дверь. Мама открыла и всплеснула руками, теряя равновесие:

– Господи! Что случилось?

– Упал. Ударился, – коротко объяснил Додик и только после этого наконец расплакался.

– Быстро в ванную!

Мама сумела совладать с собой и выделить самое главное в тот момент. Вызов «скорой», слезы, обмороки, нравоучения – все потом, потом. А там, в ванной, бедная мама еще раз едва не лишилась чувств.

– В чем это ты перепачкался?! – страшным голосом спросила она.

– Где? – не понял Додик. – Где перепачкался?

От обиды, растерянности и страха он заплакал еще громче.

– Что это за красная гадость?! – кричала мама не своим голосом.

– Это кровь! Обыкновенная кровь!

– Чья кровь?! С кем ты играл?

– Ни с кем, я был один, это моя кровь!

– Зачем ты врешь мне?! Быстро раздевайся и полезай в ванну!

Она уже сама раздевала его, срывая заляпанную рубашку и треники странно дрожащими руками. Почему странно? От чего дрожащими? Он вдруг понял – от омерзения. Потому что один раз уже было такое, когда года два назад Додик притащил в квартиру дохлую кошку, притащил на плече, обнимая ручонками, прижимаясь к пушистому боку щекой, уверенный, что кисоньке еще можно помочь. Да, она уже не шевелится и не дышит, да, глазки закрыты, но ведь она, кажется, еще теплая...

С тем же остервенением, теми же нервно дрожащими руками намыливала тогда мама его лицо и голову, злорадно не беспокоясь о попадающем в глаза мыле: сам виноват, са-а-ам, думать надо было, ду-у-умать, что делаешь. И он орал, потому что было жутко обидно, ведь он хотел как лучше, кошечку хотел спасти. А сейчас было еще обидней, потому что он вообще ни в чем не виноват. Упал, разбился насмерть, снова стал живым – радоваться надо!..

Отплакавшись, он сразу заснул, даже обедать не стал, а сквозь сон слышал, как пришел отец, и мама рассказывает ему о случившемся: «...плачет и ничего не может объяснить», «Если б ты видел этот ужас!», «Голова, лицо, рубашка – все в какой-то красной гадости!», «...действительно похожа на кровь...»

Красная гадость. Красная Гадость – это же совсем другое. Это – такое большое пятно на глухой стене соседнего дома, кровавое пятно, сделавшееся от времени темно-бордовым, почти черным.

Додику было лет шесть или семь, когда появилось это пятно. Рассказывали – теперь ему уж казалось, что он слышал сам, но он не был в этом уверен – рассказывали, что в ту ночь из их садика раздавались душераздирающие крики, никто не рискнул выйти во двор, вызывали милицию, но когда наряд приехал, никого уже не было, никого. А наутро на стене обнаружили большое красное пятно с длинными потеками, и жирные капли на концах застывших струек еще матово поблескивали. «Пьяные идиоты разбили банку с краской», – сказали взрослые. «Я знаю, это здесь ночью женщину убили. Головой об стену. Слышали, как она кричала?» – шепотом сообщил старший из мальчишек – татарчонок Федя. Кто был прав, осталось неясным. Только никакой разбитой банки, никаких осколков под стеной не лежало.

Еще много лет стену не штукатурили и не чистили, и жутковатое пятно, как произведение абстрактной живописи, украшало ее, делая местной достопримечательностью. А тогда уже дня через два дети рискнули приблизиться к страшному месту и даже отколупнуть немного Красной Гадости. Маленькие засохшие капли называли почему-то «сисечками». Были они еще мягкими и издавали непонятный запах – резкий, сладковатый и странно будоражащий. Запах засохшей крови? Возможно, но кто из них мог знать, как пахнет засохшая кровь? А вот краски с таким запахом Додик ни до, ни после не встречал нигде.

«Сисечкам» Красной Гадости находили разнообразное применение в играх: ими как страшными снарядами обстреливали солдатиков на вырытых под кустами позициях; их добавляли в зловещее варево колдунов; их собирали – кто больше – в маленькие алюминиевые корбочки из-под фотопленки и закапывали в тайниках; Красной Гадостью, как смертельным ядом, натирали боевые стрелы индейцев... В общем, при таком хищническом расходовании ресурсы Красной Гадости быстро иссякли: «сисечки» элементарно кончились, да и все пятно в целом засохло до окончательного затвердения и почернения. Кончилась Красная Гадость. Осталась легенда. А мама так небрежно произносила эти слова...

Потом он опять заснул, уже крепко. И видел странный сон. Он спускается в колодец, спускается бесконечно долго, все стены колодца залеплены Красной Гадостью, совсем свежей, собственно, даже не залеплены, а истекают ею, как березовый ствол истекает соком по весне. Запах стоит одуряющий. Кто сказал, что во сне нельзя почувствовать запах или вкус? Наконец

он внизу. Железная дверь открыта настежь. Он шагает во мрак, легко шагает, без страха. И тотчас же падает, опрокидывается, зацепившись ногой за высокий порожек. И вот когда он переворачивается с ног на голову, когда получает возможность взглянуть на мир с изнанки, оказывается вдруг, что никакой там не мрак, это здесь, в реальности, мрак, и реальность осталась позади, а там (что значит «там»? что значит «здесь»?) яркое-яркое зеленое небо и ослепительно красивые скалы, розовые, как фламинго, как облака на восходе, как фруктовое мороженое за семь копеек. Жутко красиво. И чтобы все это описать, ему приходится произносить про себя очень много совершенно незнакомых слов, и вообще он рассуждает, как взрослый, может, он и есть уже взрослый, заглянул невзначай в собственное будущее – делов-то! И кто-то тихим вкрадчивым голосом подсказывает ему: «Никому не говори о том, что здесь увидел. Слышишь, ни-ко-му».

Все, на этом сон кончается. Нет, он не проснулся, просто кончился сон, как фильм в кинотеатре. Опять стало темно. И вроде надо выбираться наверх, да неохота. И тогда он понимает, что выбираться наверх на самом деле не надо, потому что это он не сейчас видит сон, это он его тогда у Колодца увидел, когда умер, а сейчас просто вспоминает. И Додик еще раз спокойно заснул.

А наутро он ничего не забыл, но и не рассказал ничего. Ничего. Никому. Он действительно в тот день проспал с обеда и до утра. Ни мать, ни отец не будили его. А потом не заставляли вспоминать. Кто-то подсказал им, что нельзя так грубо бороться с амнезией.

Спустя какое-то время водили Додика к психиатру. К знакомому, чтобы мальчик не боялся, чтобы не подумал чего. А он и не думал. Психиатр симпатичный оказался. Говорил с ним долго, об интересном, о всяком-разном. А под конец прямо при мальчике заявил родителям: «Не паникуйте. Совершенно здоровый ребенок. Обычные трудности роста – и больше ничего».

Но он-то помнил, что все было на самом деле: и ощущение полета, и бутылочное доньшко, и кровь вокруг, его кровь, и резкая, непереносимая боль в лодыжке. И розовые скалы под зеленым небом.

Вот такие трудности роста.

Почему же теперь так остро и четко, до мельчайших деталей он вспомнил далекий случай из детства? Почему?

И еще...

Девушки все танцуют, они уже полураздетые. И танцуют они, курвы, не просто так. Профессионалки, что ли? Он опять закрывает глаза и опять оказывается в машине, ветер свистит, деревья мелькают, и он снова думает о прошлом.

...А вот еще был случай.

Подмосковный лес. Осенний романтический поход на втором курсе универа. Догорает костер. Они остались вдвоем: он и Наташка. Их оставили вдвоем. Он догадывается, для чего, а Наташка, кажется, нет. Точнее, не так: она просто не рассматривает его как возможного партнера. На недотрогу-то она мало похожа. Может, и не девушка уже. То есть наверняка не девушка. Но дело в другом: за Давидом закрепилась странная репутация чудака, которого секс вообще не волнует. Того, что он еще «мальчик», никто наверняка не знал, зато знали точно: с бабами он не спит. И сегодня Давид должен разрушить этот образ. Он решил, он знает как. А вот пробует, и не получается. Стандартные шутки, стандартные нежности – не работают. Но он должен. Возникает дикая решимость. На безумный поступок. Любой. Все равно какой. Теперь – все равно.

– Наташка, – говорит он, – хочешь фокус покажу?

– Покажи, – улыбается она, уже заинтригованная.

Он хватает из костра сочащуюся карминным светом головешку и зажимает в кулаке.

Наташкины глаза расширяются, она сейчас завизжит. Нет, не визжит, а глухо, хрипло:

– Дурак...

Он разжимает кулак – на ладони черный, совершенно холодный уголек. И никакого запаха паленого мяса.

– Не бойся, потрогай.

– Ух ты! А еще раз можешь?

– Могу!

И смог.

И все. И после – затяжной поцелуй, и его черная от сажи рука лезет к Наташке под штормовку, под ковбойку, под майку, а бюстгалтеров она не носит... Они катаются по траве, и он жарко шепчет:

– Я превращаю пламя костра в пламя своей безумной страсти, сейчас ты будешь вся гореть!..

Наташка и хихикает, и распалается все сильнее, они катаются по осенней сухой траве, оставляя на ней все больше и больше становящихся ненужными курток, джинсов, маек, трусов, костер скрывается за кустом, да и погас он уже, ни черта не видно, полная тьма, но видеть ничего и не надо, надо только осязать, осязать, дикая, дикая страсть, неудержимая!..

– Я вся горю, я вся горю, – шепчет Наташка, захлебываясь в столах, и он уже тоже едва сдерживается, закатывает глаза, кусает губы...

– Я вся горю-у-у!..

И чернота взрывается ярким карминным светом, и он расслабленно откидывается на спину, разбрасывая руки, и из разжатых кулаков выкатываются на траву два ярко сияющих уголька.

Наташка ничего этого не видит. Кажется, она вообще в отключке. Пахнет дымом. Пахнет горелой травой.

Это была первая женщина Давида. О любви между ними речи не шло. Какая, к черту, любовь! Просто важный этап в познании жизни. Для него. Вот так – холодно и сухо – определил смысл случившегося.

К тому времени он уже научился понимать, когда это приходит. Как только в жизни наступал переломный момент, если от какой-нибудь мелочи зависела вся дальнейшая судьба, тогда и включались эти внутренние резервы. Сначала приходило осознание: сейчас, пора, «промедление в выступлении смерти подобно»! И он давал какой-то еле заметный сигнал своему другому «я», своему alter ego, и оно просыпалось и начинало действовать, и действовало уже независимо от его первого «я» – воли. И так случалось семь раз. Дважды он читал чужие мысли, один раз увидел сквозь бумагу номер экзаменационного билета, один раз выиграл в лотерею, не очень много, но как раз тогда до зарезу нужны были деньги, и, наконец, еще один раз разбросал взглядом превосходящего противника в темном переулке, быть может, вновь спасая себя от смерти.

Что же такое (или кого же) спасал он теперь, добавив в свою коллекцию еще два уникальных случая, и не просто, а по-новому уникальных – два случая управляемой магии – спокойной, без надрыва, без вспышек страсти, без страха, без провалов в небытие. Что случилось? Что? И почему с такой детальной ясностью, словно только что просмотренные кадры фильма выплыли из прошлого лишь два эпизода – первый и последний?

Он размышлял над этим теперь, сидя в удобном мягком кресле на даче большого милицейского начальника товарища Феропонтова, музыка обволакивала его, как вор прокрадыва-

лась внутрь не только через уши, но и через кожу, непонятно, чего было больше: собственно музыки или ритмичной вибрации; а к знакомому сочетанию запахов винных паров и табачного дыма все явственнее примешивался тяжелый, дурманящий аромат обнаженного женского тела. Сонливость прошла совсем, даже опьянение медленно рассеивалось (так ему казалось). Он сидел с закрытыми глазами, наслаждаясь странным ощущением погружения в себя. Медитация. Хрупкую иллюзию впадения в эту экспромт-нирвану разрушил чей-то голос:

– Эй, чувак, почему спишь? Да еще с пустым бокалом! Совминовские коньяка принесли.

Он открыл глаза. Рожа, наклонившаяся к нему вместе с роскошной матовой бутылкой, была незнакомой. Но эта рожа любезно наполнила ему бокал, и Давид тупо прочел надпись: «Calvados». Потом рожа уплыла в сторону, и глазам Давида открылась картина в духе Босха и Сальвадора Дали. Почему-то именно в таком жутковато-сюрреалистическом аспекте воспринял он царивший в комнате вертеп. Голых девушек было теперь существенно больше, чем одетых, да и парни уже начали раздеваться. То есть что значит начали? Он пригляделся: две пары уже сплелись, одна на диване, одна на полу, другие пока еще «танцевали».

Давид опрокинул содержимое бокала, как водку.

Но это была не водка – он словно растворил в себе глоток теплого, пронизанного солнцем воздуха над берегом Средиземного моря, глоток росы с мягких яблоневых листьев и налитых тяжестью спелых плодов. И в тот же миг все уродцы Босха отряхнули чудовищные панцири и коросту, сбросили мерзкую чешую и дряблую кожу, девичьи тела засветились в таинственном полумраке дивной теплотой античного мрамора, и тогда дверь распахнулась, и в окружении ангелов небесных и слуг земных вошла она. Богиня. Прекрасная, как Венера Боттичелли. И он поднялся ей навстречу, потому что сразу понял: вот ради чего, ради кого он рвался сюда через дикую смесь алкогольных напитков, через закопченные свечи Витькиного «жигуленка», через все злокозненные посты ГАИ.

Давид шагнул, оступился и упал перед Венерой на колени.

Венера оказалась еще пьянее его. Она уже не могла самостоятельно сохранять вертикальное положение. Ее поддерживали Гоша и некий отвратительный толстяк с гадкой сальной улыбкой. Из одежды на Венере просматривались мужская рубашка, завязанная на животе узлом, изящные туфли на высоком каблуке (или это уже не одежда?) и металлически блестящая карнавально-сексуальная полумаска, закрывавшая лицо от прически до губ (а это одежда?). Правую руку Венеры Гоша удерживал так, чтобы ладонью прикрывать ее лобок, а левую – толстяк двумя своими сильно прижимал к груди. Очевидно, удерживать руку на весу он уже просто не мог. В общем, каноны были соблюдены. Правда, сама Венера пыталась заплетающимся языком петь песню на английском языке, но это, как ни странно, совсем не разрушало образа. Сознание Давида окончательно раздвоилось, и теперь пьяный придурок на коленях уже полностью подчинялся могучей воле проснувшегося alter ego.

– Где вы ее откопали? – удивительно трезвым голосом поинтересовался Аркадий, с отчетливым чмокающим звуком отлепляя от себя оседлавшую его полненькую девчужку в одних прозрачных трусиках. – Она ж такая в жопу пьяная танцевать не сможет. Несите на третий этаж – кто-нибудь да оттрахает.

– Слушаюсь, сэр, – дурашливо поклонился Гоша, чуть не уронив Венеру на пол.

Толстяк выпустил левую руку богини, цепляясь теперь просто за ее груди. Троица развернулась на сто восемьдесят градусов и, не без труда вписавшись в дверной проем, начала восхождение по узкой деревянной лестнице. Давид поднялся с колен и пошел за ними, как привязанный.

Комната на третьем этаже была небольшой, пустой и прохладной. Толстяк и Гоша уложили Венеру на чистый, застеленный розовой скатертью стол, при этом руки ее оказались

заброшены за голову, а ноги слегка разведены и полусогнуты в коленях – ни дать, ни взять роженица. Закончив процесс укладки, Гоша и толстяк спросили друг друга:

– Ты будешь?

– Не-а. А ты?

– Я тоже не хочу. Некрофилия какая-то.

– Точно.

Обернулись. Сосредоточенно, долго, оценивающе смотрели на Давида.

– Вот! Он ее и оттрахает, – торжественно заявил Гоша.

– А как его зовут? – неожиданно поинтересовался толстяк.

– Его зовут Самуил, – уверенно сообщил Гоша.

– А-а-а! – обрадовался почему-то толстяк. – Самуил, оттрахай ее, пожалуйста. Девочка очень хотела. Да вот нажралась. Оттрахай. Только маску не снимай. Ты, Самуил, здесь человек новый, тебе не надо знать, кто она, вдруг ее папа будет сердиться. А тебе, Самуил, совсем ни к чему знать, кто ее папа. Договорились?

– Договорились, – ответил Давид мрачно.

Оба сразу ушли, а он увидел на внутренней стороне двери тяжелый засов и быстро задвинул его.

Ну, вот и все, свершилось.

Торжественный сумрак узкой длинной комнаты с рядами стульев вдоль стен, маленькой кушеткой в дальнем конце и господствующим по центру столом окрашивали сусальным золотом четыре тусклых светильника, сработанных под старинные канделябры. Мраморное совершенство божественного плоти вдруг шевельнулось. Руки, освободившись от уже совсем не нужной одежды, легли вдоль тела ладонями вниз и одновременно очень медленно начала подниматься спина, плечи, шея, лицо в серебристой маске, ноги, сгибаясь в коленях, раздвигались все шире, шире, высокая полная грудь нацелилась вперед и вверх набухшими острыми сосками, мелкая сладостная дрожь прошла по животу...

Давид стоял перед нею, окаменев и пожирая взглядом ее всю. Всю, а не отдельные особенно вкусные детали. Она была прекрасна, она была божественна в своем бесстыдстве – Венера! И наконец она открыла глаза, и из прорезей маски полыхнуло в него рубиново-красным. И яркое солнце вспыхнуло в комнате между ними.

Знание, Великое Высшее Знание пылающим шаром ворвалось в голову Давида и рассыпалось внутри и вокруг дождем сверкающих брызг. Свет Знания, свет солнца, вспыхнувшего среди ночи, свет тысячесвечной люстры над столом, которую он включил одним легким взмахом ресниц – ослепительный свет залил все вокруг: розовую скатерть, бордовые стены, золотые канделябры, зеркальный потолок. И дикая первобытная страсть, неодолимо толкавшая его в объятия Богини Любви, уравновесилась вдруг величественным спокойным сознанием причастности к тайнам Вселенной. Теперь он был посвящен. Теперь он знал так же, как и она, что после земной жизни их ожидает другая, совсем другая – вечная жизнь. И это было не как религиозный дурман, не как мистическое откровение, даже не как научное открытие – это было... как проснуться утром от душного кошмара и увидеть, что ты не один под солнцем.

Теперь она стояла перед ним на коленях, подняв руки раскрытыми ладонями вверх, словно поддерживая невидимый драгоценный сосуд.

– Я буду жить вечно? – спросил он.

– Да, – ответила она.

– И мы вечно будем вместе с тобой, Венера?

– Да, – ответила она. – Только не в этой жизни.

- Почему?
– Потому что здесь я не могу быть с кем-то. В этой жизни я создана для всех. Я действительно Венера. А ты... Ты вообще не создан для этой жизни.
– Почему? – снова спросил он.
Она не ответила. Помолчала, потом вдруг сказала:
– Все это случилось так неожиданно.
– Ты о чем? – не понял Давид.
Она упрямо повторила, теперь уже с продолжением:
– Все это случилось так неожиданно!

Вечерело. Около шести
Старенькая сгорбленная Ханна
Собралась зачем-то в лес пойти.
В руки взяв платок и телогрейку,
Выпив на дорожку девясил,
Кликнула с собою пса Андрейку,
Чтоб один по дому не бродил.
Заперла скрипучую калитку,
Воздух был прозрачен, свеж и чист,
Прогнала с капусты тварь-улитку,
Чтобы не глодала сочный лист...

Полное безумие. Венера читала стихи. Странные, непонятные, сюрные. То ли для детей написано, то ли, наоборот, ребенком. Дьявольщина какая-то.

– ...Прокричала выпь в кустах сирени,
Светлячок напуган чем-то был,
Встрепенулись спящие олени
Лягушонок закопался в ил.
И скакала бабушка-колдунья
По болоту прямо босиком.
Все это случилось в полнолуние,
Всюду сильно пахло васильком.²

- Коньяком, – автоматически поправил Давид. – Так точнее. Или нет. Лучше – табаком. Всюду сильно пахло табаком! Что за бред – запах василька? Сама придумала?
– Конечно. Это же поэзия, дурачок. Именно васильком. Я так чувствую!..
– А-а, – протянул Давид. – А сегодня полнолуние, что ли?
– Да, – сказала она. – То есть нет. Не знаю. Просто сегодня Особый день. Для тебя. Только ты лучше молчи. И постарайся понять: ты теперь будешь жить согласно Высшему Закону – Закону Посвященных. Рано или поздно ты встретишь Владыку, который объяснит тебе все. А я... я просто одна из тех, кому доступны высшие радости. Вот так. Любимый, иди ко мне!
– Ты не снимешь маску? – спросил он.
– Нет, – ответила она. – Ты видишь мои глаза – я вижу твои. Что еще нужно? Я люблю тебя! Я больше не могу без тебя.

² Стихи Ксении Кулаковой

Ее поза – поза торжественной клятвы стала опять плавно перетекать в позу призыва, в позу ждущей, пылающей, неутоленной страсти, и Давид почувствовал, что еще мгновение, и все бессмысленные грубые покровы просто лопнут на нем...

Еще никогда в жизни он не раздевался так быстро, еще никогда в жизни он не желал кого-то так сильно, еще никогда в жизни он не получал настолько больше, чем желал. Никогда.

Сколько времени они пробыли вместе? Какой смешной вопрос! Разве то, что они делали вдвоем, происходило во времени?

Что такое любовь, он узнал именно в эту ночь. Любовь бессмертной богини к бессмертному богу. И что такое божественный секс, да, да, именно божественный секс, в котором чисто и свято все, абсолютно все...

Мутное розовато-серое зарево уже начинало размывать черноту за деревьями, когда Венера набросила на плечи строгий синий плащ и ушла через окно. Он приблизился к распахнутым створкам и поглядел вниз. К подоконнику была приставлена лестница. Стремительная фигура богини мелькнула среди деревьев, прощально взметнулась вверх легкая кисть.

– Я хочу тебя снова, Венера! – крикнул он.

– Мы очень скоро встретимся! – раздался в ответ ее нежный удаляющийся голос.

– И это все, что можешь ты сказать

В печальной дымке позднего рассвета?

Обман смешон, когда глаза – в глаза.

Любовь моя, ты понимаешь это? – пробормотал он себе под нос. – Чьи это стихи? Тоже ее?

Лестница была деревянная, свежетесаная. С карниза и с облетающих ветвей срывались тяжелые холодные капли росы.

И было хмурое утро. Давид открыл щеколду и спустился вниз. Некоторые еще спали – вповалку, накрывшись пледами и куртками. Другие сидели вокруг стола. Аркадий потягивал роскошное баночное пиво, кажется, «Хольстен», Витька лечился «фантой» – не хотел снова иметь дело с ГАИ. Гоша бродил по комнате, как тень отца Гамлета, и искал, во что налить кофе из маленькой, почерневшей от времени турки. Чашек почему-то нигде не было. Мавр вдумчиво цедил коньяк из большого красивого фужера. Предложил Давиду.

– Не, – вяло отказался он, – не пью по утрам.

– Даже пива? – удивился Аркадий.

– Даже пива.

– Ну, уж шампанское-то точно хорошо! – вступила в разговор растрепанная деваха в мятом пеньюаре и с сомнительной чистоты стаканом в руке. Сейчас там было, конечно, игристое вино, а вот вчера, похоже, тушили бычки. – Анька, например, всегда по утрам шампуньское трескает.

– Да! – вскинулся вдруг Гоша. – Ну и как тебе Анька, Дейв?

– Какая Анька? – тупо спросил Давид, уже понимая, конечно, о ком идет речь.

– Неверова Анька, – пояснил Гоша, – которая в маске вчера была.

– Неверова?! – обалдел Давид. И спросил совсем глупо: – Дочка товарища Неверова?

– Тамбовский волк тебе товарищ, – глухо проворчал Витька.

Товарища Неверова носили на демонстрациях вместе с дедушкой Мишеля. И уж такого Давид никак не ожидал. Любимая. Богиня. Посвященная. И плюс ко всему – дочка члена Политбюро. Или кандидата в члены? Какая разница! Похоже, в связи с этим известием его alter ego решило вздремнуть. Оно пропало куда-то, и Давид сделался вмиг самым обыкновенным человеком, сильно перебравшим и проведенным ночь в любовных утехах. Голова затрещала, откровенно разламываясь на куски.

– А трахается она классно, – засвидетельствовал Гоша и спросил: – Правда, Дейв?

– Ух ты, ах ты, все мы космонавты! – недовольно заворчала растрепанная деваха, оскорбившись на комплимент Аньке в ее присутствии.

– Трахается она классно, – повторил, как эхо, Давид. И вдруг выпалил: – А! Наливай миnasали!

– То-то же! – обрадовался Мавр и плеснул Давиду коньяка.

Но легче не стало. Стало только тяжелей.

Уезжали, кажется, той же компанией. Нет, не совсем. Мишеля не удалось разыскать в груди спящих на полу девиц, видели только ногу его, до остального не докопались.

Глава вторая

ЗАКОН СЛУЧАЙНЫХ ЧИСЕЛ

Веня Прохоров плохо помнил тот день, когда стал Посвященным. Произошло это лет десять назад, ему еще двадцати не исполнилось. Учился в автодорожном и увлекался, как все, сразу многим. Больше всего – книгами.

Странно увлекался: освоив технику быстрого чтения, проглатывал сотнями фантастические, детективные, приключенческие романы и научно-популярные книжки о всевозможных чудесах, загадках природы и феноменах истории. Запоминал крайне мало: авторов – никогда, названия – изредка, а факты и фантастические гипотезы образовывали в его голове такую мешанину, из которой выудить что-нибудь конкретное было практически невозможно. Очевидно, Веня ловил кайф от самого процесса чтения, так что результат его мало интересовал. Однако для столь активных, как он, читателей времена были не самые благоприятные, даже отделы книгообменов еще не появились, а в букинистах и просто магазинах лежало такое, чего и даром брать не захочешь. Так что читательская лихорадка естественным образом привела Веню на Кузнецкий мост, а экономические законы черного рынка – к не менее естественному выводу: чтобы покупать здесь книги, надо их еще и продавать, иначе денег взять будет негде.

В общем, Веня Прохоров был человеком подкованным во всех отношениях: эрудированным до безобразия и практичным до цинизма.

А Давид при первой же встрече обнаружил, что Веня еще и туп до необычайности. То, что слесарем теперь работает – это понятно, а вот как ухитрился институт закончить? Однако именно Прохоров стал вторым после Анны Посвященным, встретившимся на пути Давида, и не пообщаться с ним было просто невозможно.

Давид пригнал в очередной раз свой драный «Москвич» к Вальке Бурцеву на сервис, точнее, на автобазу парфюмерной фабрики, где никогда нельзя было понять, чем сильнее пахнет – бензином или одеколоном, и где под шумок всеобщего разгула кооперативного движения шустрые ребята ухитрились одними из первых срубить не кислые деньги на казенном оборудовании и почти не платя никаких налогов. Главным в команде и был Валька Бурцев. Случайный знакомый, он вдруг стал Давиду удивительно близким человеком.

Остановив машину в огромном ремонтном боксе, Маревич вышел и кликнул Вальку, но в гулком помещении никого не было. Из соседней ямы, над которой стояла полуразобранная «волжанка», вылез крупный плечистый парень в ватнике. Ничего особенного, парень как парень: лицо перепачканное, усики и неопрятные вихры, торчащие во все стороны из-под свалявшегося меха ушанки. Но вылез, глянул на Давида, и тот, еще не успев, ничего сказать, почувствовал, как сердце сжалось вдруг, замерло секунд на пять и забилось очень странно, поновому, в этакое как бы сложно модулированном ритме. Сердце передавало мозгу шифровку – так он позднее назвал это для себя. А тогда впервые узнал, как один Посвященный узнает другого. Но всегда ли так? Ведь Анна-Венера...

– Веня, – представился парень, – Прохоров. Давай сразу на «ты».

– Маревич, Давид. Конечно, на «ты», ведь мы уже слишком много знаем друг о друге.

– Да уж. Закурим?

– Давай. «Честерфилд» будешь?

– Аск! Ну что, чиниться начнем или хочешь поговорить? Валька за запчастями упилил.

А я тут новенький.

– Поговорить хочу.

Но разговор-то как раз и не клеился. Вопрос – ответ, вопрос – ответ, недомолвки, односложные реплики.

– Ты давно? – спрашивал Веня.

– Четыре с лишним года.

– А я уже шесть. Ну и скольких знаешь?

– Да никого не знаю... ну, то есть... ты второй, – поправился Давид.

Не хотелось говорить про Анну, но ведь не сам же по себе он сделался Посвященным.

– Погоди. Как второй? А те семеро? – ошалело спросил Веня.

– Какие семеро?

– Ну, ты даешь! – Веня уже не знал, что сказать.

Вот тогда и начался у них настоящий разговор. И Веня Прохоров рассказал.

Там, на Кузнецком мосту, его и нашли трое Посвященных – трое смутно знакомых книжных спекулянтов. Сугубо по делам пригласили в квартиру неподалеку, где сидели еще четверо. И все сильно старше него. Сначала решил, что это менты. Крупным воротилам, как всегда, все сходит с рук, а мелкоту вроде него метут почем зря. У нас же вечно стрелочник виноват. Перепугался Веня насмерть. Потом пригляделся – нет, не менты, скорее бандиты. Стало еще страшнее. А они вдруг начали говорить о бессмертии и об иных мирах. Все, чуваки, крыша съехала. И так странно было: то, что говорили эти семеро, как-то помимо воли укладывалось у Вени в голове – возникало собственное знание, но из-за леденящего, панического страха он этого поначалу не заметил и воспринял обряд Посвящения как очередной треп о летающих тарелочках, бермудских треугольниках, биолокации, экстрасенсах, зомби и прочей хорошо ему знакомой и любимой ерунде. Тем более что разговор вдруг решили традиционно смочить портвейном. И тогда (с перепоею, что ли? Да нет, вроде и не настолько пьяные были.) его довольно жестоко избили за какое-то неосторожно сказанное слово. «Не менты, не бандиты, – думал Веня, – а все-таки влетел, доигрался хрен на скрипке!» И он уже начал соображать, что Посвящение – это серьезно, ведь за бермудские тарелочки, биосенсов и экстралокацию его еще ни разу не били. И решил для себя, что компания Посвященных – нечто вроде секты или масонской ложи, одним словом, собрание шизиков, он только никак не мог взять в толк – его-то зачем сюда приплетают. Собственно, он этого и по сей день не понял.

– Видишь ли, Давид, как это можно понять, когда никто, никто на Земле не знает принципа отбора Посвященных? Они говорят: Закон Случайных Чисел. Все с большой буквы. Во как это называют.

Не очень-то верилось Давиду, что никто-никто не знает. Раз есть принцип отбора, значит, кто-то его придумал. А Закон Случайных Чисел – чепуха, да и только. При чем здесь математика? Но спорить не было смысла. Все, что рассказывал Веня, было для Давида внове, и хотелось просто узнать побольше.

– И что, – спросил Давид, – ты потом сам по этой же схеме посвящал других?

– Конечно. И не раз. Практически все происходит вот как. Стоит семи Посвященным собраться вместе в Особый день, как они узнают имя нового. Все семеро. Одновременно. Откуда? А вот от верблюда! Или от Бога. От фонаря. От... звезды. Назвать-то это можно как угодно, но лучше совсем никак не называть. Тогда жить легче.

– Погоди, а кто назначает Особый день?

– Владыка.

– Так ты и Владыку знаешь?

– Конечно, – теперь уже снова удивлялся Веня. – Ты, брат, какой-то дикий. Со своими же надо общаться! Я дам тебе телефон Владыки.

– А Владыка бутылки глазами двигает? – глупо спросил Давид.

– При чем здесь? Мы же говорим о Посвященных.

Вот-те на! А он-то, он-то почему такой? Это что же, одно к другому не имеет отношения? Значит, молчать, скрываться и таить? От всех, и от «своих» тоже? Потому что настучат. А защитить себя разве он сумеет? От хулиганов, от всяких травм, от мелких неприятностей – безусловно, его управляемой магии хватит. А от КГБ? И тогда, значит, все-таки вперед, на

следующий круг бытия? Он не хочет. Он хочет быть здесь до конца, до упора. «Ты вообще не создан для земной жизни». Кто это сказал?

– Хочешь, я дам тебе несколько наших телефонов?

А? Что? Это Веня, что ли, его спрашивает? Встрепенулся. Ответил вопросом на вопрос, почти невпопад:

– А КГБ ты не боишься?

– Да пошли они! Ну, телефон прослушивают, ну иногда какой-то дятел в подъезде маячит. А мне чо? Я ж ничо такого не делаю. У меня вон мать на православии задвинутая, так я к этим дятлам с детства привык, уже и не пугаюсь. Понимаешь?

Давид понимал. Но с трудом. Веня был слишком, слишком другим. Информацию о Посвящении он проглотил так же, как очередную увлекательную книжку, и без видимых последствий для организма выпустил из себя, отправил дальше по цепочке. Уникальный человек! Лучше, говорит, совсем никак не называть. Так, говорит, жить легче. Атаc! Действительно легче. И КГБ бояться не надо. Чего ему, Вене Прохорову, в самом деле, бояться КГБ? Такие, как он, не представляют опасности для режима. И режим это знает, оберегает их, холит и лелеет, выращивает, как шампиньоны.

А вот телефон Владыки Давид у Вени взял. Это было действительно важно. «Рано или поздно ты встретишься с Владыкой. И он тебе все расскажет». Так говорила Анна. Анна Неворова. Анна Венерова. Венера.

Теперь та странная осень была уже далеко-далеко. Но иногда она возвращалась ошеломительно яркими образами, в деталях, в подробностях, как события минувшего часа. Ну да, ведь это же специфическая особенность его памяти.

Черт, как много у него специфических особенностей! С таким набором странных качеств долго на свободе не живут. А он вот живет каким-то образом. Каким? Ведь не таким же, как Веня Прохоров? А чем он, собственно, лучше? Чем вообще отличается? Ну как же, он это уже выяснил. Посвященные не экстрасенсы, а Давид Маревич – экстрасенс. Веня Прохоров – тупой, а он... А он влюбленный. В дочку Политбюро. Дословно так и подумалось еще тогда: дочка Политбюро. Некрасиво торчащее посередине слово «член» выкинулось как-то само собой.

Дочке Политбюро он звонил еще в начале октября. А хотел звонить в тот же день. Но не смог даже трубку поднять. Лежал пластом целые сутки. Мать чуть «скорую» не вызвала, а батя – веселый был в тот момент, даже предлагал «подлечиться» – сказал: «Ерунда. С кем не бывает. Не гони волну, мать, завтра все пройдет». Батя оказался прав. Почти. Такое бывает, со многими бывает, но не в столь юном возрасте. В двадцать четыре с похмельем справляются по-молодому быстро. Вот только Давид в тот день перестал быть молодым. В одно мгновение, минуя зрелость и старость, из молодости – в вечность. Это страшно. От этого ох, какое тяжелое похмелье бывает! Можно сказать, ломка, а не похмелье.

По-настоящему он пришел в себя только через неделю. И не удержался, выпросил у Витьки телефон. Витька знал номер только на дачу и сразу честно предупредил:

– Не вспомнит она тебя, зря звонишь. Все ведь ужратые были, а она особенно. Да, и еще: звони на всякий случай из автомата или хотя бы с работы. Тебе же не надо, чтобы твой номер в картотеку попал.

– В какую картотеку? – рассеянно спросил Давид.

Мысли его были не здесь.

– В какую надо, – улыбнулся Витька.

Дошло. Мог бы и сам сообразить. Но Витька – молодец, настоящий друг.

Давид позвонил с работы, из чужого отдела. (Конспиратор хренов!) Застал. Больше того, она сама взяла трубку.

– Аня?

– Да.

– Привет, это Давид.

– Какой Давид? Куда вы звоните?

Черт! Он же не представлялся ей! Они вообще не познакомились!!

– Аня, мы были вместе на даче у Аркадия. Я...

– Какого Аркадия? Что вы хулиганите? Где вы взяли этот телефон?

– У Витьки... Аня! Любимая! Венера! Это же я, неужели не узнаешь?!

Пауза. Короткая и выразительная.

– Идиот! Больше никогда не звони по этому номеру. Никогда. Ты понял?

И – отбой. Короткие гудки. Слава Богу, никто не вошел в кабинет, пока он тут орал. Бедный начальник сектора! Вдруг его вызовут в партком? Или куда там – в первый отдел? Боже! О чем он думает? А о чем еще думать? Конечно, она узнала его. Иначе не перешла бы на «ты», не задала последнего вопроса. Но Витька оказался прав в главном. Туда не надо было звонить. Туда вообще нельзя звонить – слишком высоко. Она сама его найдет, когда нужно будет. Найдет. Вот только когда? Вдруг он так и не дожидется, не доживет?.. Тьфу-у-у! Действительно, идиот! Как он может не дожить? Просто пока еще трудно помнить об этом всегда...

Просто пока еще трудно
Помнить об этом всегда.
Просто над зеркалом пруда
Снова погасла звезда...

Вот так. Теперь он иногда разговаривает стихами, а иногда счищает ресницами нагар со свечей. И потому он никуда не пойдет за эту любовь – ни на крест, ни на костер, ни на плаху – не такая это любовь. И человек он не такой. Вообще уже не человек. Ну, не совсем человек. А высшая доблесть Посвященных – умение ждать. Кто-то сказал: умереть за правду легко, попробуйте жить за правду. Для обычных людей это справедливо с известной поправкой. Для Посвященных – стопроцентная истина. Умирать для них не просто легко – умирать сладко и радостно. А вот жить – здесь и сейчас – сплошная непрерывная ломка. Ради чего жить? Может, ради ответа на этот вопрос?

Сколько времени он боролся с отчаянным желанием умереть? Неделю? Месяц? Год? Или все эти четыре года? Он жил, просто имея в голове Знание. Притирался к нему, прилаживался, пытался совместить свои серые или, наоборот, слишком пестрые будни с безумием нового положения в мире. Потом, наконец, смирился, как смиряется инвалид с необходимостью пользоваться костылями. Да, именно так, Знание было равнозначно отсутствию чего-то очень важного и привычного для нормальных людей. Он долго не понимал, чего именно. Потом понял: страха смерти. Оказалось, что жить без него гораздо труднее. Да, искренне верующие люди тоже не боятся умирать. Но они верят в будущую жизнь, а Посвященные знают о ней. Существенная разница. Знание в отличие от веры не упрощает, а усложняет жизнь. Знание – тяжкий груз и боль, ибо сказано: «Кто умножает знание, тот умножает скорбь». Экклезиаст наверняка был Посвященным. Наверняка.

Перед самым Новым годом умер отец, и Давид ничем, ничем не смог помочь ему. Он впервые тогда усомнился в физической реальности происшедшего там, в Барвихе, тридцатого сентября. Что, если все это – просто пьяный бред? Элементарные глюки с перепою! Какое еще, к едрене-фене, Посвящение? Какое Знание?! С чего он взял, что это действительно знание, а не idіe fixe – болезненное состояние ума? Сходить к психиатру? Но тот знакомый, к которому

водили в детстве, давно уехал через Израиль в Штаты, а пойти к любому – так уж лучше напрямиком на Лубянку, там и психиатра предоставят, и стоматолога, и хирурга... И тогда он начал злиться. И вызывал из прошлого яркие – ярче окружающей реальности – образы: бордовая комната с золотыми канделябрами, Венера на розовом столе, угольки на ладонях, Колодец, Красная Гадость, Розовые Скалы на фоне зеленого неба... А потом со стены на кухне вместе с шурупом срывалась сковородка или сигарета прикуривалась без всякой спички – и все. Он разряжался, остывал, медленно возвращалось спокойное ощущение абсолютной достоверности Знания. И спокойная убежденность: живи как жил. Так надо. Не дергайся. Всему свое время.

А время шло. И кое-что вокруг начало меняться. В восемьдесят пятом, когда воцарился Горбачев, вдруг выяснилось, что экономика вовсе не должна быть экономной. Просто она должна быть. И все. Кто-то из журналистов придумал. Не важно, кто. Важно, что правильно.

Работа в институте оживилась. Премии стали существенно возрастать. У Давида появились первые публикации в научных, околонучных, потом в совсем ненаучных журналах. В последних платили лучше всего.

Он всегда умел откладывать деньги. Даже со стипендии. А стройотряды и шабашки позволили открыть счет в сберкассе. Так что, когда строго по свистку началось ускорение и первые ростки хозрасчета в виде гонораров и премий сделались вполне ощутимыми, не прошло и года, как Давид, оценив свой капитал, понял: можно искать вариант. Пусть скромненький, но – автомобиль. Высшая, запредельная мечта советского человека. А он вот так запросто возьмет и купит, получит права, станет автолюбителем и поедет – сам за рулем! – в Барвиху, да, да, в те места, «где был счастлив когда-то»... Зачем? Бред собачий.

Но случай подвернулся, и именно с той стороны. Аркадий Феропонтов покупал новую модную «восьмерку» и продавал свой старый «Москвич» за четыре куска. Три с половиной у Давида уже было и пятьсот рублей он остался должен. По тем временам – обычное дело.

Машина знакомила с новыми людьми – с соседями-автомобилистами, с доставалами запчастей, с механиками и слесарями. Так появился в его жизни Валька Бурцев. Когда впервые Давид услышал, как обильно, смачно и вычурно матерится он со своими работягами на парфюмерной автобазе, просто сразу догадался: парень с высшим образованием; просто проникся симпатией; просто почувствовал родственную душу. Ну а потом оказалось, что главное не это. На самом-то деле Валька был очень не похож на других. Другие бесились от злости на страну, на порядки, на власть, на себя, друг на друга, а Валька оставался неизменно добрым ко всем, помогал, кому мог и радовался. Другие трещали без умолку, рассуждали о нравственности, философствовали, лезли в политику, нервничали из-за ерунды. А Валька говорил мало, всегда спокойно и занимался делом. Все мужики носили какое-нибудь обтрепанное старье (а, все равно достать ничего невозможно и переплачивать неохота!), забывали чистить ботинки и гладить брюки, не успевали бриться и даже мыть руки перед едой – плевать на все, бардак – он и есть бардак. А Валька, когда ни увидишь его – чистенький, отутюженный, подтянутый, гладко выбритый, и руки как у врача перед приемом – это при его-то работе в мастерской! Словом, общение с Валькой вселяло оптимизм, давало ни с чем не сравнимое ощущение душевного комфорта. Раз существуют такие люди, значит, мир еще не безнадежен. Слова, слова, сопливая романтика, но рядом с Валькой Бурцевым верилось в лучшее. Всерьез верилось.

Давидовым «Москвичом» Бурцев, как правило, занимался лично. Любил его. Понимал, чувствовал, как живого. Давид и сам любил свою машину, но не так. Так он не умел. Потому что Валька вообще все машины считал живыми существами. Искренне считал. Не дурачился, не выпендривался, а на самом деле видел в них братьев наших меньших. Рассказывал всевозможные истории из жизни автомобилей, подтверждавшие его правоту, а уж про свою-то старенькую «пятерку» мог говорить бесконечно. И как она чихает и кашляет на морозе, и как обижается, если подолгу ее не заводят, и как дрожит, когда он, Валька, – с похмелья, и еще рассказывал, как однажды договорился о встрече с женой, а та опаздывала, сильно опаздывала,

он начал нервничать, ездил кругами, чувствовал уже что-то недоброе, и машина чувствовала, а потом оказалось – действительно беда: авария, больница, а у «пятерки» в движке клапан прогорел насквозь, абсолютно новый клапан, ну не бывает такого, не бывает – разве что на нервной почве...

Со стариком «Москвичом» Валька сразу установил неформальный контакт, научился понимать с «полуслова», и Давид уже не влезал никогда по ходу «процедур» или тем более «операций». Да, да, медицинская терминология лучше подходила для такого общения с машиной. А отправляя в очередной путь подлеченного ветерана, Валька умолял:

– Ты с ним поласковой, Дод, старенький он уже, но держится молодцом и прослужить может долго.

Иногда, если у Давида было туго с деньгами, Валька делал ремонт за так. С учетом всеобщего оголтелого перехода на рыночные отношения, когда даже родные братья начинали давать друг другу деньги под проценты, казалось это совсем удивительным. И однажды – настроение, что ли, было поганое? – Давид не удержался, спросил:

– Валь, скажи честно, тебе-то на хрена все это нужно?

Валька пожал плечами, улыбнулся, как только он один умел – открыто и чисто, подумал секундочку и ответил:

– А вот нравится мне делать другим приятно!

Ответ? Ответ. Вот нравится ему – и все! Хоть ты застрелись. Собственная его, Давида, исключительность сильно тускнела рядом с Валькой, и хотелось (почему? что за логика?) быть самым обыкновенным, таким, как все.

А, между прочим, водить машину, даже пригонять ее на ремонт, даже порой самому возиться с ней – это было простое обывательское счастье, по которому он соскучился за два года медленного схождения с ума. И однажды, подрабатывая, как все, на бензин, он посадил к себе симпатичную девушку со странным именем Мадина. Посадил, как выяснилось, надолго.

Без регулярной половой жизни он тоже соскучился. А нерегулярная перестала радовать – вроде годы уже не те. Иногда он даже начинал думать: а может, им, Посвященным, *это* уже не требуется. Может, их интересует только божественный секс. Оказалось – нет. С Мадиной тоже было хорошо. Правда, о любви здесь опять речи не шло. Как с Наташкой. А потому и жениться он не собирался. Потому ли? Черт его знает, почему. Вообще-то особой регулярности в общении у них не получалось. Негде было. У Давида – больная мать, у Мадины – сестры-братишки, мелочь пузатая. Чаще всего они «любили» друг друга в машине, в его задрипанном «Москвиче». И если поначалу это было романтично, то потом все больше и больше раздражало. И, наконец, суровым декабрем восемьдесят седьмого, когда Давид потерял мать, а столбик термометра не раз и не два ухнул аж почти до сорока, оказалось, что между ним и Мадиной все окончательно вымерзло: уже не нужна была ни пустая квартира, ни самостоятельная счастливая совместная жизнь. Называется, дождались. Кто кого разлюбил, спрашивать было глупо, потому что никто никого и не любил. Просто Мадине пришло время искать настоящего мужа, а Давиду – расставаться с иллюзиями и возвращаться в свое безумие.

Со смертью матери обвалился в небытие огромный пласт прежней жизни, а новый, открывшийся ему вдруг (или не вдруг?), отсвечивал холодным розовым блеском вечности. Мертвенным блеском. Смерть была не только во вчера, но и в завтра. Смерть взяла его в кольцо. С этим ощущением он жил всю зиму. И ощущение не обмануло.

Когда зима уже почти кончалась, двадцать какого-то февраля, то есть через два месяца после похорон матери, он узнал, слушая вражьи голоса, что дочка товарища Неверова покончила с собой, выбросившись из окна восьмого этажа.

Причина называлась тривиальная и даже скучная с точки зрения политической – наркотики.

Он позвонил Витьке.

– Как ты думаешь, мне можно прийти на похороны?

Он даже не пояснил, чьи. А Витька ответил раздраженно:

– Не надо. Неужели ты до сих пор ее вспоминаешь? Я тебе говорю: не надо.

«Что бы ты понимал, козел!» – подумал он злобно и сам себя одернул: «За что? Витька просто не в курсе. Как еще он может реагировать?»

Вышел на улицу, сел в машину и долго грел движок, еще не понимая, куда собирается ехать. На работе у него библиотечный день. Друзей, к которым можно нагряться без звонка, практически не осталось. Да и к кому нагреться среди дня? Значит, куда? В Барвиху, «где был счастлив когда-то»? И с высокого берега – проламывая лед, в Москву-реку вместе с машиной. Красиво! Или еще красивей – с разгону в ворота ее дачи, чтобы стрелять начали. Впрочем, не начнут они стрелять, патронов пожалеют – просто остановят, схватят, побьют ногами. Потом допрашивать будут. Больно и противно. Ничего красивого... Матерь Божия! О чем он думает?

А движок вдруг захлебнулся, едва не заглох и даже на полностью вытащенном подсосе заработал неровно, натужно, словно вот-вот начнет «троить». И сразу стало ясно, куда он поедет. На профилактику. Никакого серьезного повода, чтоб заявляться к Вальке, не было, но мелочь всякая, разумеется, поднакопилась – если зимой едешь, что-то всегда накапливается. До парфюмерной автомастерской было минут двадцать от его дома, но никогда еще он не водил так плохо. Чудо, что не забодал никого по дороге. У руля вдруг появился безумно большой люфт, тормоза едва срабатывали, стрелка давления масла залипла на нулевой отметке, ручка регулятора обогрева салона обломилась под пальцами, как хрупкая веточка, а уже возле самых ворот автобазы он проколол переднее правое колесо. Но даже это было не все. Потом оказалось, что последним аккордом стал лопнувший ремень генератора. Вот Валентин-кудесник! Сделал-таки машину живым существом. И теперь вместе со своим хозяином «Москвич» отказывался жить. В опустевшем без Анны Неверовой мире он агонизировал, бился в судорогах, буквально на ходу отбрасывал копыта, то есть колеса. И Давиду вдруг сделалось смешно. Истерика? Возможно, это была истерика. Но он сдержался и не въехал в ремонтный бокс, хохоча. Он просто положил голову на руль и сказал:

– Спасибо, друг.

Старичок «Москвич» принял удар на себя, высосав из Давида без остатка всю его тягу к самоубийству. И захотелось жить. Или выжить. Да, именно выжить. Но захотелось сильно, как никогда.

Анна Неверова, Анна Венерова... Анна ушла. Про Посвященную нелепо говорить «умерла». Анна ушла, она будет ждать его там. Какая разница – сколько. Ведь там не существует понятия «время»... А с чего он, собственно, взял, что не существует? Не важно, не важно... Она будет ждать его, она обещала, они непременно встретятся, а сегодня, сейчас его место здесь, «бороться и искать, найти и не сдаваться!..» Это откуда? Опять из Ильича, да нет, это какая-то хорошая книжка была. Не важно, не важно...

Эйфория. Глухое отчаяние, перешедшее в слепую эйфорию. Может, не случайно именно в этот момент оказался с ним рядом Вениамин Прохоров? Протянул перепачканную ладонь и представился. Конечно, не случайно. Разве в жизни Посвященных бывают случайности?

Пока команда из трех человек с отчаянным энтузиазмом героев-хирургов из советского фильма семидесятых годов возвращала к жизни горе-самоубийцу старичка-«москвичка» (не хватало только нервных сестричек-реаниматоров, в ужасе закатывающих глаза, и их возгласов типа «Это последний шанс!», «Мы теряем его!») – так вот, пока команда трудилась, Давид успел сходить пообедать в заводскую столовку, и обсудить с вернувшимся Валькой все общие темы, и прогуляться до метро за сигаретами, и даже позвонить по данному Веней телефону.

Владыку звали Игорь Альфредович Бергман. Он ни о чем не расспрашивал, ссылки на Прохорова вполне хватило, просто назначил день и время. В воскресенье, в шесть вечера. И объяснил, как добраться.

Была среда. Третий день творения, подумалось почему-то. Что же там сотворил Бог на третий день? Ответ пришел сразу, хотя он никогда не учил Библию наизусть.

«И назвал Бог сушу землею, а собрание вод назвал морями. И увидел Бог, что это хорошо... И произвела земля зелень, траву, сеющую семя по роду ее, и дерево, приносящее плод, в котором семя его по роду его. И увидел Бог, что это хорошо. И был вечер и было утро. День третий...»

Он ехал домой на уже совсем исправном старикане и думал, что ж это за подсказка такая. Если сегодня день третий, что считать первым и вторым? Откуда вести отсчет? От повторного рождения в детстве? Нет, это здесь ни при чем. Сказал же Веня, что Владыка бутылки глазами не двигает. Так что отсчет можно и нужно вести только от тридцатого сентября. Вот он, настоящий День Один. Действительно, Он сказал тогда: да будет свет. И стал свет. А вот день второй... Очень мутно описан второй день творения в каноническом тексте Книги Бытия. Какую-то непонятную воду отделял Бог от воды же, посередине зачем-то твердь заделал, и все уже решили, что это грунтовые воды, а над ними озера и реки – ан нет! Бог возьми да и брякни, что твердь назвал он небо. Ни фиги себе пельмень! В общем, на второй день Бог откровенно запутался в своих деяниях. Но, согласитесь, немного странно обвинять Всевышнего в подобном бессилии, а потому естественнее заподозрить его в маленькой хитрости. За первый-то день он изрядно намаялся: и небо с землей, и свет, и вообще понедельник – день тяжелый. Вот и решил во вторник сачкануть, а чтобы людям потом неповадно было устраивать себе такой же выходной, напустил туману: то ли твердь посреди воды, то ли вода посреди тверди, а вчитаясь повнимательнее и видишь, что без дня второго все только яснее и проще.

Вот и Давид обошелся без второго дня. Сразу третий для него настал. Живая жизнь, живые ростки полезли, и теперь уж их не остановить. Но почему так? Почему сейчас? Отчего? А вот ни от чего! *От звезды*, как говорит Веня Прохоров. Закон Случайных Чисел. Три этих странных слова как-то особенно цепко угнездились в мозгу Давида. Слышал он такое выражение раньше? Ну конечно, слышал. Экономист все-таки, математику учил весьма основательно. Статистику тоже, как говорится, проходили. Но сейчас не о том... Бах! Озарение. Не математика, не статистика – фантастика.

Попадался такой закон в одном романе, который лет пять или шесть назад он небрежно листал по диагонали. А роман назывался... да, точно, «Заговор посвященных» или... ЧТО?! «Заговор Посвященных»?!

... Вот с какой там буквы было в названии – с маленькой или с большой, – он не помнил. Но уже давил на все педали сразу и, грамотно тормозя коробкой передач на поворотах, отчаянно гудел и громыхал, а машину все-таки заносило, потому что сорок километров в час на повороте – это даже летом многовато... Влетел в квартиру, в комнату, перерыл всю полку с фантастикой – нет нигде! И вспомнил. Отдал почитать. Еще тогда. Эдику Цукерману. Взять обратно забыл. Эдик славился тем, что подолгу держал книги. У него надо было спрашивать, и почаще. А в восемьдесят четвертом Эдик уехал в Израиль. Или в Штаты через Израиль. For good. Всегда хотелось скаламбурить: уезжают for good, а остаются for bad³. Сейчас каламбурить не хотелось, хотелось плакать от обиды.

Ох уж этот третий день творения! Как назвать процесс, обратный творению? Уничтожение? Нет, это слишком прозаично. В канонических текстах таким словам быть не положено. Лучше – мертвые. Не совсем точно, зато явно лучше: третий день мертвья. Планомерного мертвья мира в себе и себя в мире. Э! Да не из той ли книги такая странная фраза?

³ for good – навсегда (англ.), букв. – для хорошего; for bad – для плохого

И тогда всплыло в памяти с уже привычной для него ослепительной ясностью. Пушкинская площадь. Вечер. Молчащий фонтан. Не тот, который за спиной Александра Сергеевича, а новый, простенький овал со струйками в середину, перед Некрасовской библиотекой. Гоша, Витька и он гуляли вместе по Бронной и вот присели тут на лавочку. Давид считал это полнейшим кретинизмом – вот так просто болтаться по улицам. Атавизм какой-то, инфантильность, граничащая с дебильностью.

С Витькой и Аркадием они любили вот так ходить осенью семьдесят первого, в шестом классе, когда все трое впервые влюбились. Причем Витька и Аркадий – в Надюху, ничуть между собой не соперничая (как это было возможно?), а Дод – конечно, в Зинку, признанную большинством первую красавицу класса. Говорили вечерами напролет о девчонках, мечтали, предавались невероятным, иногда почти хулиганским, будоражающим душу фантазиям, раззадоренные, принимались звонить по всем телефонам из автоматов, заранее приготовив кучу двушек, говорили всякие глупости, смеялись, а в сентябре еще традиционно заходили в коммуналку к Доду – выпить фруктовой воды, закупленной в непомерном количестве на его день рождения – кажется, на три, если не на четыре таких захода хватило. Давид открывал дверь ключом, чтобы не беспокоить соседей, Витька громким смешливым шепотом распорядился: «Виски, Дейв!», и Дод шел на кухню за стаканами, а бутылки стояли здесь же, в уголке, где все трое приседали на корточки, пробки срывали о педаль прислоненного к стене старого отцовского мопеда, и божественно вкусная розовая шипучка – виски с содовой! – расплескивалась по стаканам. Славное это было время. Они казались друг другу настоящими друзьями. Казались или были? Наверно, тогда все-таки были.

Но годы брали свое. И у дружбы, и у людей, и у этих прогулок. Давид теперь не знал, когда все успеть: институт, плавание, книги, фильмы, театры, выставки – хотелось ничего не упустить. Но и людей упускать не хотелось, этих – особенно. Почему-то общение со старыми, точнее, бывшими друзьями представлялось очень важным. Корыстный интерес? Да нет, он ничего у них никогда не кланчил – считал ниже своего достоинства. Скорее был интерес к их жизни, этакий академический интерес. Ведь он же будущий экономист, а это (ему казалось) почти социолог, почти философ. Ему очень хотелось знать, как живут там, наверху.

А жили там скучно. Учились без интереса. Читали мало. Много слушали музыку. Современную англо-американскую, разумеется. Пили тоже много и тупо. Говорили (и не только говорили) о бабах. А остальное время – убивали. Вот на таких, например, прогулках. Время корчилось, молило о пощаде, но куда там! Могли по несколько минут идти молча. Это считалось нормальным. Только Давид ощущал тягостную неловкость. Дурачок!

Потом Гоша вдруг изрекал:

– Я тут сделал открытие.

– Чего, чего? – Витька подгребал ближе.

– Открытие, говорю, сделал. С похмелюги на завтрак изумительно хорошо похавать печень трески. Без всякого хлеба и масла. Только запить чем-нибудь. – Он делал многозначительную паузу. – А можно и не запивать. Понимаешь, и калорийно, и проскакивает изумительно.

– Надо взять на вооружение, – откликнулся Витька, и они еще минут пять шли молча.

Когда прощались, Гоша вдруг спросил:

– Дейв, книжку не купишь?

– Какую? Покажи. Может, и куплю.

– Обалденную.

Это была традиционная присказка. Однажды Давид поведал этим охломонам, сколько стоят популярные книги по ценам толкучки на Кузнецком или Пролетарке. Он искал тогда

для себя любимый том из «Библиотеки литературы США» – Воннегут и Сэлинджер под одной обложкой. И Гоша вдруг вскинулся:

– Сколько, говоришь? Четвертак?! Сейчас принесу. У меня есть такая.

Странные ребята, продолжал недоумевать Давид, все у них есть: машины, дачи, многокомнатные квартиры, гаражи, импортные шмотки и еда, билеты в любой театр через спецкассу, книги по спецзаказам тоже любые, а с наличностью в карманах – вечная беда. Вот и становятся «фарцой» через одного. Гоша фарцовщиком не был, но книжку у родителей стибрить и загнать, если выпить хочется, – дело святое. За такие-то башли!

Сделка состоялась, к взаимной радости сторон. А через неделю Гоша, окрыленный коммерческим успехом, втюхал растерявшемуся Давиду некий сборник «Запад вблизи» – очерки прогрессивных журналистов Америки и Европы, который не стоил не только объявленных пятнадцати(!) рублей, но, пожалуй, и тех двух с десятью копейками, что были обозначены на обложке. Давид заплатил, мучимый странным чувством: вроде обещал. Потом безумно ругал самого себя: ладно бы Витьке помог, а то какому-то Гоше! И стал после этого разборчивей, настроенней. Начал отказываться. Например, «Час быка» Ефремова – да, это дефицит, а Франсуа Мориака – оставь себе. Проживем.

И вот опять обалденная книга. «Заговор Посвященных», фантастический роман.

– А автор-то кто?

– Хрен его знает, тут не написано.

– Как это? – Давид был заинтригован.

– Ну, сам смотри.

– Правда. Забавно. Тут и издательство, что ли, не указано?

– Не знаю, это же не у нас напечатано, – объяснил Гоша.

– Ладно, не свисти.

– Да правда! Где ты видел, чтоб у нас так печатали?

– Ви-идел, – загадочно протянул Давид, уже прикидывая, что книжку надо брать.

– Фантастика? – заглянул через плечо Витька. – Терпеть не могу фантастику.

– Почему? – удивился Давид, перечитавший целую прорву этого рода литературы.

– Да потому, что они там всегда плывут к Северному полюсу на какой-нибудь космической ракете, все такие мужественные и красивые, особенно штурман и капитан, и фамилии у них типа Полещук, Седых... Седых – обязательно.

– Ты каких писателей читал? – решил уточнить Давид.

– Ну, самых известных – Казанцева, Немцова, Адамова... кто там еще?

– Там – уже почти никого. С тобой все ясно, Витька.

– Слушай, – прервал их литературоведческую дискуссию Гоша. – Ты берешь?

– Сколько?

– Сорок.

– Обалдел?

– Так ведь оттуда. За валюту куплена.

– Нет, это несерьезно, – очень солидно заявил Давид и зачем-то добавил, как дурак: –

За двадцать возьму.

Гоша тут же (тут же!) согласился, ударили по рукам, и все сразу начали торопиться.

В метро он жутко ругал себя всю дорогу: «Бизнесмен чертов! Экономику изучаешь, а элементарно торговаться не можешь! Он бы за десятку отдал. Берет ведь задарма, а деньги ему нужны, ох как нужны! А тебе, как видно, не нужны, ты у нас миллионер!...» Так костерил себя, что даже книгу, по обыкновению своему, не открыл, не было должного настроения.

И вообще к этой странной книжке априори сложилось у Давида неприязненное отношение. Уж слишком она была чудная. Самиздат? На раз – безусловно, но откуда такая качественная печать, бумага, переплет. Буржуазная пропаганда? Но тогда где хотя бы два слова – что

это, кто это, зачем, кому предназначается? Предисловие какое-нибудь, в конце-то концов. Ни черта! «Заговор Посвященных». Фантастический роман. И сплошной текст от третьей до триста двадцатой страницы. Русский текст. Любопытный. Все-таки он начал читать. В тот же день перед сном.

Было там про какого-то полицейского. Российская империя, обратно переименованный Кенигсберг, начало двадцать первого века. Не фантастика, а полный бред. Интересные детали попадались. Язык – ничего, любопытный, сексуха – очень откровенно, не по-нашему, а в целом – раздражало. Потому что непонятно. Например, «Остров Крым» у Аксенова – тоже своего рода фантастика, но там – сатира, ясно с пол-оборота, а здесь – ни два ни полтора. Как говорили в школе, что хотел сказать автор?

Подряд он прочел немного, листанул вперед. Там пошла какая-то философская заушь, стилизованная под канонические религиозные тексты. Читалось с трудом. Выхватывались отдельные интересные фразы. Что-то запомнилось. Но вообще захотелось бросить. И он бросил. Погасил свет. А на следующий день и позже все некогда было вернуться к этой тоскливой ахинее антисоветского происхождения. Друзья буквально завалили книгами, которые надо было читать срочно. И когда недели через две-три Эдик приволок ему Набокова – «Лолиту» и «Приглашение на казнь», захотелось в благодарность тоже дать ему что-нибудь этакое. И он, очевидно, подсознательно стремясь избавиться от непонятно раздражающей книги, предложил Цукерману «Заговор Посвященных». Цукерман вцепился с энтузиазмом. (А во что он вцеплялся без энтузиазма?) И книжка канула навсегда.

Но ведь помнил же он что-то. Даже теперь. Что-то помнил.

Давид напрягся, закрыл глаза, расслабился, еще раз напрягся, и всплыли из памяти две страницы – разворот с фотографической точностью.

«...вплотную к нему Борис и крадчиво зашептал на арамейском:

– А вот скажите, Владыка Шагор, почему так непреклонен великий Закон Случайных Чисел?

(Вот он, Закон Случайных Чисел! Вот он! Только не спугнуть текст, только удержать!)

– А я объясню вам, друг мой Борис! – молвил Шагор, поднимаясь. – Однако позвольте мне перейти на греческий. Так понятнее будет.

– Я предпочел бы на древнекитайском, но... как вам угодно, коллега. Еще одно маленькое уточнение. Отбор на высшие уровни не подчиняется, насколько я могу судить, этому закону. Вы согласны?

– О, безусловно! Так слушайте. Информационное пространство Второго уровня не бесконечно. Такова была и есть изначальная данность. Машина не умеет и не хочет иметь дело с бесконечно большими величинами.

«Машина! – подумал Шумахер. – Конечно, он имел в виду компьютер. Чрезвычайно удобный греческий язык! Что за люди, эти демиурги! Он, кажется, даже не уловил моего сарказма по поводу древнекитайского. Далась им поэтика мертвых языков! Интересно, сколько иероглифов понадобилось бы в действительности для обозначения слова „компьютер“, да не просто компьютер, а „компьютер девятого поколения“? Может, всего один?»

– Машина имеет дело с конечными величинами, и это касается как числа критериев оценки, так и количества принципов отбора, то есть величин второго и третьего логического порядка, – вещал Владыка. – Эксперимент на условной модели с отбором по любым фиксированным факторам привел, – заметьте, коллега, это очень важно! – к весьма печальным результатам. Вы спите, что ли, мой юный нобелевский лауреат? Печальным результатом я называю полное разрушение модели объекта за относительно короткий промежуток времени.

– Нет, я не сплю, мой юный Демиург! (Опять не чувствует иронии, зараза.) Если перевести все, что вы сказали, на нормальный английский язык, получается так: проводя селекцию вида *homo sapiens* хоть по расовому признаку, что не оригинально; хоть по половому, что оригинально, но тоже не ново; хоть по принципу близости к кормушке, что наиболее традиционно, но и наиболее омерзительно; хоть по интеллекту (максимально современный, но и предельно глупый подход, ибо это, по сути, тот же спартанский отбор по состоянию здоровья); хоть по любым другим, самым возвышенным и изысканным религиозно-философским, морально-этическим, романтично-поэтическим и сексуально-идиотическим критериям – результат один: медленное, но верное вымирание вида. Не остается ничего другого, как уповать на Ее Величество Случайность. Так?

– Вы совершенно правы, хотя и многословны. А с чувством юмора у меня, прошу заметить, все в порядке, равно как и с чтением мыслей на любом из доступных вам языков. Только не подумайте, что теперь я стану мстить за оскорбление. Боже упаси! Мы, демиурги, и слово таких не знаем. Мы, демиурги, вообще народ тихий и затюканный, работаем без выходных, премий нам не платят, зарплату задерживают, сволочи, а цены-то растут, хоть сегодня беги в ОБИР и прямиком...»

На этом страничка текста обрывалась. Давид поймал себя на том, что курит и как всегда, не доставая зажигалки. Черт, не хватало еще на людях такое выкинуть!

Тут же рука потянулась к телефону. Цукермана теперь, разумеется, не найти. Но может, Гоша что-то знает. Читать не читал, но вдруг хотя бы вспомнит, где взял книгу.

Гоша был дома и, что поразило, вспомнил с лету. Даже не пришлось название говорить. А ведь какой-то суеверный страх подсказывал Давиду: не произноси вслух этих слов – ЗАГОВОР ПОСВЯЩЕННЫХ. Не произноси.

– Удивительно дурацкая история получилась, – охотно начал рассказывать Гоша. (Чувствовалось, что дело прошлое и теперь он откровенно смеется над всеми тогдашними неприятностями.) – Эту злосчастную книгу отцу принес знакомый полковник из погранслужбы. Они у себя на таможне конфискуют целые горы запрещенной литературы. В Шереметьеве, например, специальная машинка стоит, и полагается тут же, не отходя от кассы, мелко-мелко шинковать в капусту всю эту вражью пропаганду. И составлять акт. Но сам понимаешь, как у нас инструкции выполняются. Книжки ведь принимают по счету, а макулатуру – по весу. Так что все, что маломальски интересно, ни один псих уничтожить не станет. Литература стабильно растаскивается сотрудниками. Не на продажу, нет. Продажа – это на самом деле уже статья. Распространением называется. Берут просто для себя. У нас же самая читающая страна в мире. А в Комитете вообще сплошь профессиональные читатели работают. Папахен мой, например, очень любит всякую такую фигню читать. Но тут он ее, кажется, прочесть не успел, хотя на полочке, в глубине, книжонка долго стояла. Черт меня дернул именно ее вытащить! Не прошло, кажется, и недели, как папахен хватился. Где, говорит, где она? Ты не брал?! И глаза совершенно дикие, как будто его через пять минут уволят или расстреляют. Я испугался, конечно, и дурачком прикинулся, мол, знать не знаю и видеть не видел. Мне-то зачем эти проблемы? Ну ладно, вроде утихло все. А еще через какое-то время отец при мне разговаривал по телефону, как я понял, с начальством. Неприятно так разговаривал, нервничал. И вдруг совершенно неожиданно схватил меня за рукав и – прикрыв трубку, свистящим шепотом:

– Гоша, ты, правда, не брал эту книгу?

Я чуть не помер со страху, но все же не растерялся:

– Да ты чего, па? Конечно, нет.

А он вдруг как-то странно успокоился и сказанул в трубку такое... Я чуть не грохнулся посереде холла.

– Товарищ генерал, – сказал он, – могу свидетельствовать: эта книга сама собою исчезла. Да, товарищ генерал. Да. Обязательно в письменном виде. До свидания, товарищ генерал.

Вот такие, брат, пироги с котятами. А у тебя, значит, свистнули книжонку мою. Красиво. Ну и хер с ней! Как говорится, дьяволу – дьяволово. А мы тогда на твой двадцатничек неплохо погудели!..

Давид молчал ошарашенно, и Гоша счел нужным добавить:

– Боишься, телефон прослушивают? Не бойся, сейчас уже времена другие.

Однако в воскресенье выяснилось, что времена у нас примерно те же, что и были.

Старенькую хрущобу с облупившимся мелким кафелем в ржавых потеках он нашел без труда. Пять минут ходьбы от Даниловского рынка. Подошел к исцарапанной необитой двери на четвертом этаже. Совсем уже собрался звонить, когда голос за спиной окликнул:

– Молодой человек!

– А? Что?

Крохотная белоснежно-седая сухонькая старушка выглянула на лестничную клетку, зябко кутаясь в серый пуховой платок.

– Молодой человек, вы к Игорю Альфредовичу?

– Д-да.

– Не звоните. Его забрали вчера.

– Как?!

– Ну, эти в штатском, пришли и забрали. Не звоните. Опасно. Я знаю. У меня сына расстреляли в сорок девятом.

– Спасибо, – пробормотал Давид и ссыпался вниз по лестнице.

А в подъезде топтался высокий гражданин в плотном шерстяном пальто и каракулевой шапке пирожком. Может, греется? Или ждет кого? Гражданин поднял глаза на Давида. Ласковые такие, спокойные и пустые, как дырки в носках. Конечно, ждет. Его, родимого, и ждет.

– Вы к кому? – глупо спросил каракулевый пирожок.

«Где ж ты раньше был, идиот? По нужде во двор бегал? „Вы к кому?“ спрашивают на входе!»

– Это пятый корпус? – перешел в наступление Давид.

– Н-нет, – замялся от неожиданности пирожок. – Это третий.

– А мне нужен пятый, я ошибся, не видно ни черта в темноте....

И мимо него, на улицу, и за угол, и бегом, все время бегом...

Из дома позвонил Вальке.

– Слушай, Веня Прохоров будет завтра на работе? Он мне книжку интересную обещал.

– Нет, его не будет, Дод, Веня уволился.

– Чего это?

С каким трудом далось ему это небрежное «чего это?»! Только не выдать себя!

– В четверг заявление подал, в пятницу работал последний день, – спокойно сообщал Валька. – Какие-то у него семейные обстоятельства. Может, ездить далеко. Он же в Химках живет. Вообще, честно тебе скажу: жалко. Механик отличный. А всего-то три месяца у меня и проработал.

– У тебя есть его телефон? Ты же знаешь, я по части книжек чокнутый, – оправдывался Давид.

– У него нет телефона. Записывай адрес: улица Маяковского...

Давид записал. Но уже тогда понял: Веню он больше не увидит.

Собственно, можно было и не ехать. Пилить черт-те куда по гололедице и грязному московскому снегу, чтобы убедиться... В чем? Он не знал точно. Потому и поехал.

Маленькие розоватые двухэтажки среди деревьев. Ну, прямо дачный поселок. Коттеджи западного типа. Идиллия.

А нужный ему дом сильно обгорел. Видно, только что, этой ночью. Еще не все пожарные уехали. Машина стоит, запах гари, закопченные стены, крыша железная даже дымится (или парит?) и место происшествия оцеплено милиционерами. Болтливый по молодости сержантик рассказал:

– Человека тут убили ночью или под утро. Молодого парня из пятой квартиры. А потом подожгли, наверно, следы заметали.

Неожиданно рядом возник гражданин. Словно бы знакомый. Ах, ну да! Рожа другая, хотя и похожая, а пальто и пирожок – ну прямо с одного склада брали.

– Вам, простите, кого? Вы, простите, куда?

– А я в третью квартиру, – импровизирует Давид.

– А там сейчас никого нет.

– Очень, очень жаль. Я по объявлению по поводу продажи холодильника.

Пирожок делает круглые глаза.

– Наверно, я ошибся. Это какой дом?

Он уже не слышит ответа. За деревья, за угол, к дороге, к автобусной остановке, где народ кучнится, и дальше – к своей машине, и бегом, все время бегом...

Значит, теперь вот так. Всегда. Бегом и только бегом. И вздрагивать от телефонных звонков, и перед дверью оглядываться и чутко вслушиваться, и шараться в темноте от каждого куста. Значит, теперь вот так.

Не хочу, сказал он себе. И больше не буду искать никаких «своих». Зачем? Кому это нужно? Мне самому? На фиг, на фиг. А высшее руководство в лице безвременно ушедшей Венеры никаких инструкций не оставляло, если не считать туманной фразы: «Ты не предназначен для земной жизни». Ишь, без меня меня женили. Не предназначен, говорите? А вот хочу и буду жить здесь. На самом деле не хочу, но все равно буду. Всем назло. А якшаться с этими подпольщиками означает впрямую, откровенно нарываться на тюрьму или скорую гибель. Пошли вы все в баню! Между прочим, в этих... заветах, что ли... как раз и сказано...

Он вдруг вспомнил еще несколько строк из «Заговора Посвященных». Всего заветов там было девять, но он, наверно, все не прочел, во всяком случае, сейчас вспомнил два. О том, что Посвященный должен жить обычной жизнью, как все, не выделяться; и о том, что нельзя торопить смерть. Грех это великий. Вот так. А ведь все эти игры в догонялки с КГБ – что это, как не нарушение обоих заветов сразу?

Или он просто струсил?

Вспомнился вдруг отец, отказавшийся стучать на друзей и поломавший себе жизнь навсегда. А он, Давид, он бы смог так? Наверно, нет. Потому что он трус. Бегом от квартиры Бергмана. И от сгоревшего дома Вени – тоже бегом. Хотя, казалось бы, чего бояться? Ведь смерти не существует. Вот когда становится ясно, что трусы боятся не смерти. Трусы боятся жизни. Боятся боли и тошноты, боятся сложностей-неприятностей, очень боятся всяких лишений. Так много радостей на свете, так многое хочется повидать, испытать, вкусить. И тебе еще нет тридцати. Целый вагон желаний... Или рассудить по-другому: тебе уже почти тридцать, а ты еще ни черта не видел, не пробовал! И теперь, значит, надо от всего добровольно отказаться? Чего ради?! Ради спасения души? Какой, на хрен, души?! Душа – это что вообще такое? Кто-нибудь знает? Может, тогда ради спасения человечества? Ну, нет уж, дудки. Спасали это гребаное человечество. Было, и не раз. Пустое занятие. Пу-сто-е.

Встал, подошел к зеркалу и посмотрел себе в глаза.

Так и есть: мелкий ничтожный человечиска. На всех ему наплевать. Думает только об удовольствиях. Эпикурец хренов. Гедонист-онанист. А его выбирают в Посвященные. Отец вот Посвященным не стал, спился и просто умер. Валька, золотой человек Валька – тоже не Посвященный. А туповатый Прохоров, выдающийся слесарь и книжный спекулянт с инженер-

ным образованием – пожал-те! И Анечка Неверова – доченька едва ли не Самого, барвихинская поблядушка, наркоша и пьянь – туда же! «Богиня»!..

Святотатствуешь? Нравится тебе? Нервы щекочешь? Прекрати. Противно.

Не прекращу. Потому что все это правда. Потому что бессмертием должны награждаться лучшие, а не всякая шелупонь! Это несправедливо! Кто это все придумал? Ах, ну да, Закон Случайных Чисел. Как там объяснял этот Шагор... Или Шумахер? Хорошая фамилия. Шумахер – значит сапожник. Шумахер без шумах. Точнее, «без шузов», но «без шумах» – красивее. Бред.

Если для бессмертия отбирать лучших, кто-то должен этим заниматься. Допустим, Бог. Традиционная концепция. Но у Бога тоже есть родственники, и личные пристрастия, и право на ошибку. И это не циничный эпатаж. Это действительно так, потому что Бога сотворил Человек по образу и подобию Своему. И, значит, Сапожник прав. Да нет, все-таки не Сапожник, а Шагор. В общем, они там весь этот отбор доверили Машине. А Машина – как водится, дура и тычет своим глупым пальцем наугад. И вот таким замечательным способом они строят там у себя Новый Прекрасный Мир. Идиотизм. Ох, доберусь я когда-нибудь до этой небесной канцелярии! Ох, наведу там шмон!..

Ой! Что это?

Давид по-прежнему стоял перед зеркалом, но он больше не видел своего отражения. Не потому, что отражение исчезло (что он, дьявол, что ли?), а потому, что теперь он смотрел на себя со стороны. Душа, о которой, «на хрен, никто не знает, что это вообще такое» (цитирую по памяти), благополучно отделилась от тела. Картина Репина «Приплыли».

Давид смотрел, как он отходит от зеркала, ложится на диван, запрокидывает голову, вытягивает руки вдоль тела.

Помирать, что ли, собрался? Сильный вопрос. Такой вопрос собственному телу может задать только очень смелая душа. И ответ на него тоже требуется сильный.

Ответом стал звонок в дверь. В два часа ночи. А этот идиот, то есть тело этого идиота, небрежно глянув на часы, встало и пошло открывать.

На пороге широко улыбалась очень милая девушка с длинными каштановыми волосами. Изыщные босоножки на шпильках, короткая черная кожаная юбка, легкий светлый батничек в цветочек – в общем, для зимы самое оно.

А сердце вдруг заколотилось сильно-сильно и в невероятно торжественном музыкальном ритме. Что это? «Свадебный марш» Мендельсона? Да нет, пожалуй, больше похоже на «Маленькую ночную серенаду» Моцарта. Не силен он в музыке, что поделать. Но вот удивительно: сердце стучало не в теле его, а в душе. Да, да, именно так!

– Я пришла, – заявила красавица. – Не валяй дурака, спускайся, ты нужен мне целиком.

А он действительно смотрит на всю эту сцену сверху, как бы болтаясь под потолком в прихожей. Она что же, видит глазами душу? Ну, раз так, делать нечего, глупо играть в прятки.

Он опускается и нехотя соединяется с телом. А тело времени не теряло: девушка уже у него в объятиях. Приятная девушка – нежная такая, и пахнет от нее изумительно. (Любимое Гошино словечко. Что там у него было изумительно? Печень трески с похмелья? А вот теперь духи изумительные).

– Куда ты торопишься, дурачок? – Жаркий шепот. – В какую небесную канцелярию?

– Теперь уже никуда не тороплюсь.

– Вот и правильно. Не надо никуда торопиться. – Еще более жаркий шепот. – Ты совершенно особенный человек. Ты слишком, слишком многое умеешь. Это опасно: почти ничего не знать и столько уметь. Не торопись, дурачок. Ты не создан для земной жизни, но всему свое время. И ты еще не выполнил здесь предназначенную тебе миссию. Ты даже не общался с Владыкой. А ведь ты нужен другим людям.

– Каким людям, Шарон? (Откуда он узнал, что ее зовут Шарон? Неважно, неважно...) Я был нужен только Анне. Но Анна ушла.

– Да... Анна... ушла. Анна... там, а мы... здесь... – Еле слышный, прерывистый, страстный шепот.

Мать Божия, она уже раздела его! Как это у нее получается, непрерывно что-то говорить и целовать, целовать все его тело: лицо, шею, плечи, грудь, ниже, ниже...

– Шарон! Я люблю Анну. Я хочу к ней, Шарон!

– Люби, Давид, люби свою Анну, только теперь она далеко, очень далеко, а я здесь, разве я тебе не нравлюсь?

– О, Шарон! Я же люблю Анну! О, Шарон, Шарон...

Ну, нету же больше никаких сил терпеть эту сладкую муку! Какие еще нужны слова?! Какие слова? О, Шарон! Только жаркую плоть – губами, руками, языком, всей кожей вобрать в себя, утопить в себе – и выплеснуть обратно, и снова вобрать, и снова выплеснуть... О боже!

– Но ведь это же просто секс, Шарон.

– Дурачок, просто секс – это одна из величайших ценностей во Вселенной. Правда. Ты это поймешь. Потом. А пока – живи здесь, люби свою Анну, мечтай о ней, но не пытайся уйти. Потому что ты нужен людям на Земле. Это очень важно.

– Погоди. Но этот ваш мир, ведь он совершенно реален. Разве оттуда не возвращаются? Разве оттуда нельзя вернуться?

– Ты задал два разных вопроса, Давид. Оттуда не возвращаются. Но оттуда можно вернуться.

Она оделась и ушла. Самым обычным образом – через дверь. А он вернулся к зеркалу и посмотрел на часы-будильник, стоящие возле кровати. Они громко тикали в тишине. И секундная стрелка бегала. Но было по-прежнему ровно два.

Зачем-то – Фома неверующий! – он набрал на телефоне «сто», хотя сразу прекрасно понял: все это было на самом деле, но только не здесь и не сейчас. Это было вне времени. Это было – там.

Глава третья НАРОДНЫЙ ЕВРЕЙ СССР

После ночи с Шарон период его философствований практически закончился. Наступило полное безразличие – безразличие человека, вдруг еще раз понявшего главное. Именно вдруг и именно еще раз, потому что главное было, как всегда, предельно просто и не ново: надо жить, как все, как раньше, как жил всегда. Посвящение не дает никаких прав, возможности – да, но это совсем не одно и то же. К тому же не все возможности следует использовать.

Как прошли эти полтора года? Целых полтора года! Если б кто на самом деле спросил – Давид не ответил бы, честное слово. Были они вообще, эти полтора года? Или... А что или? Сон наяву.

Время, недобитое его друзьями из советского высшего общества, время, покинутое Анной, время, изувеченное внезапным появлением потусторонней девушки Шарон – это время, всегда такое простое и монотонно текущее, теперь окончательно заболело, заметалось в конвульсиях, и уже ничего, ничего нельзя было понять.

Работал в институте. Над чем? Писал статьи. О чем? Печатался. Где? Пил водку. С кем? Спал с женщинами. С какими? Читал книги. Чьи? Ни на один из этих вопросов у него не было конкретного ответа (не знаю, не помню, затрудняюсь сказать – из вариантов, предлагаемых обычно социологами). Ну не было ответов – и все тут.

А потом, в новогоднюю ночь с восемьдесят девятого на девяностый он вдруг словно очнулся и понял, мгновенно суммировав всю полученную за время «сна» информацию: жизнь вокруг сделалась принципиально другой. Исчез бумажный привкус свежего ветра перемен, размокла старая советская бумага в непривычно огромном океане новой информации, сгорела в пожарах межнациональных конфликтов. И во все более свирепых порывах уже не ветра – урагана – отчетливо проступил запах большой крови и едкого порохового дыма.

Оказалось, что новости надо теперь не просто слушать, а воспринимать всерьез, переваривать и примерять на себя. Он переварил, примерил и вздрогнул. Мир изменился. Мир стал другим.

Вспомнилось вдруг двадцать третье апреля – митинг Демократического Союза на Пушкинской, когда Новодворской даже не дали ничего толком сказать по поводу тбилисских событий, потому что на каждого демонстранта приходилось минимум по десять милиционеров (на самом деле омовцев, но тогда еще к слову этому не привыкли). Стражи порядка стремились схватить любого раньше, чем он вякнет, да только система уже дала трещину, уже слишком много людей откровенно не боялись ее и кричали из толпы: «Фашисты! Позор!» И это было ново, это было почти шоком тогда. Приятным шоком. И Давида захлестнуло ни с чем не сравнимое ощущение собственной свободы и значимости.

То, что происходило, происходит, и то, что еще произойдет в мире, зависело теперь от каждого. Кончились времена «винтиков». На самом деле кончились. И он, Давид, перестал быть винтиком в третий раз.

Впервые он ощутил свою незаменимость, когда узнал, что «двигает глазами бутылки». Потом – когда стал Посвященным. Ведь Посвященный, даже если захочет, не сможет ощутить себя пешкой или песчинкой в космосе. Теперь он не был рабом и быдлом вместе со всеми. Со всеми, кто решил для себя в тот год не быть рабом. Знакомьтесь: Давид Маревич – Трижды Невинтик Советского Союза. Это вам не хухры-мухры.

А цены меж тем вкрадчиво ползли вверх, институтской зарплаты ни на что не хватало, а подрабатывать, кроме как статьями, он не умел, теперь не умел. Раньше-то все было понятно: разгрузка вагонов, стройка, ночные смены на «холодильнике», а нынче требовалось что-то другое – торговать, посредничать, выступать дилером, осуществлять менеджмент – все это

казалось Давиду таким чужим, хотя в теории он разбирался получше многих: дилера от дистрибьютора отличал запросто и брокера с маклером ни за что бы не спутал, но самому осваивать рыночную экономику... Он даже не представлял, с какого боку подступиться, и вполне утешался пусть редкими, но все же относительно постоянными гонорарами за свои перестроечные опусы в газетах и журналах.

В тот январский день он как раз ехал из любимой редакции, очень довольный как размером гонорара, так и статьей, опубликованной в авторском варианте, без единой купюры – тогда это было еще почти в новинку и радовало. А вот машина не радовала. С прогоревшим глушителем и чем-то очень важным, отвалившимся спереди, она стояла на приколе у Вальки. Поэтому Давид и ехал на метро. А когда не бываешь в подземке часто, там даже начинает нравиться: тепло, светло, и весь вагон уютно шелестит газетами. А кто без газеты, тот с журналом или книгой. Трудно, почти невозможно найти нечитающего. Самая читающая страна в мире. Без дураков – в перестройку это было именно так. Свою статью Давид уже перечитал, поэтому теперь, заглянув через плечо впереди стоящему, невольно начал изучать материал в «Московских новостях», посвященный событиям в Баку. Но на «Площади Свердлова» «Московские новости» сошли, Давид вынужден был оторвать взгляд и поднять его на входящую толпу, чтобы оценить ситуацию, чтобы хоть не мешаться у дверей, и...

Словно в перекрестье прицела, поймали его печальные черные маслянистые глаза.

«Девушки не должны так пристально смотреть на мужчин... Ба! Да я же знаю ее! Или кажется?... Сердце: тук – тук-тук – тук – тук-тук-тук – тук – тук-тук... Модуляция. Шифровка. Это Алка. Алла Климова. Она – Посвященная».

Алка была его одноклассницей. Правда, не с первого, а с шестого класса, но это никакого значения не имело. Все равно ее бы в жизни не приняли в элитарную компанию отличников и пижонов, считающих себя взрослее других, в компанию, к которой естественно и без вопросов причисляли Давида. Климова считалась забитой патентованной дурой и безнадежной дурнушкой. С годами, по мере остывания этой юной жестокой категоричности некоторые стали замечать в ней девушку, но лично Давида по-прежнему раздражала нескладная сутуловатая фигура с короткими ногами, вислым задом и маленькой грудью, крупный нос картошкой и какая-то очень темная негладкая кожа, ее вечно нелепая, почти мальчишковая стрижка и идиотская привычка глупо улыбаться не к месту. Если что и было хорошее, так только эти черно-зеленые и всегда влажные, как маслины, глаза, доставшиеся в наследство от отца-армянина. Однако и они Давида почему-то раздражали.

Не настолько, конечно, чтоб хранить память об Алке все эти годы. Но он часто вспоминал свою первую любовь Зину Колесникову – тонкую, изящную, трепетную, по-хорошему кокетливую, невероятно женственную с самых детских лет, Зину, к сожалению, не доставшуюся ему, начхавшую на всех влюбленных в нее «высокопоставленных» одноклассников, ушедшую в актрисы и рано выскочившую замуж за режиссера на двадцать пять лет старше ее. Давид частенько с тоскою возвращался мыслями к своей потерянной навсегда Зине, и вот тогда, бывало, по ассоциации, как полнейший ее антипод, как вопиющий пример непохожести людей вспоминалась Алка Климова.

Некоторое время толпа разделяла их, но Алка уже улыбалась своей ничуть не изменившейся за десять – да нет, уже за четырнадцать! – лет дурацкой глупой улыбкой. На «Маяковской» ей удалось протиснуться почти вплотную к нему, но Давид кивком в сторону двери дал понять, что выходит, и в итоге их благополучно вынесло на перрон.

– Привет, – радостно сказала Климова.

– Привет. – Он вдруг почувствовал невесть откуда взявшуюся волну ответной симпатии к ней. – Как поживаешь?

Вот так и спросил: не «Сколько лет уже?» не «Как это мы вдруг встретились?», а просто, буднично: «Как поживаешь?»

– Нормально. В школе преподаю. Дети – такие дураки! Я от них устаю ужасно...

«Ну, понесла, – подумал Давид. – Неужели это тот самый случай, когда спросишь из вежливости, а тебе начинают всерьез и подробно?»

Но подумал без злости, даже без тогдашнего юношеского раздражения. И на первом месте была тут действительно не «посвященность» ее, а что-то другое. Ностальгия по прошлому, по детству? Реакция на ее радость? Сочувствие к родственным ей армянам, недавно пережившим чудовищное землетрясение, а теперь уничтожаемым в Баку, как некогда по всей Османской империи. Он только что читал «Московские новости».

Поговорили и об этом. Они вообще проболтали минут сорок, не сходя с места. Традиционный чисто московский идиотизм: назначить деловое свидание или случайно встретиться в метро, остановиться якобы на минутку и простоять час, мешая входящим и выходящим, встречным и поперечным, отчаянно надрывая глотку и напрягая слух всякий раз, когда девяносто децибел очередного прибывающего или убывающего состава врываются на станцию. Поездов таких убыло и прибыло не меньше двух десятков, прежде чем она (она, а не он!) вдруг сказала:

– Ладно, мне пора. А ты вот что, Давид... ты позвони Владыке. Если не боишься. Он вернулся в Москву. Сам понимаешь, времена потеплели. Но все равно, если боишься, не надо.

Что ж она его так настойчиво пугает?

– Я позвоню, – ответил он коротко, про боязнь даже комментировать не стал, а потом добавил: – Ты считаешь, нам снова пора объединяться?

– Я не знаю, – честно сказала Климова, не вдаваясь в подробности, кто и с кем объединялся раньше. – Ты у Владыки спроси. Так позвонишь? – крикнула она, впрыгивая в вагон.

И осталось непонятным: это она опять про Владыку или теперь уже про себя?

Как была дура, так и осталась!

Давид улыбнулся и пошел к эскалатору.

И вот снова воскресенье, и снова мороз покусывает щеки – опять он без машины, как тогда. Впрочем, два года назад было теплее, потому что валил весь день крупный снег, Давид из-за него и не сел за руль: видимость скверная, пробки, да и засыпанный «Москвич» откапывать лень. Сегодня пеший рейс вызван необходимостью.

А вот хрущоба у Даниловки выглядела все так же, и подъезд, где опять было совершенно пусто, и обшарпанная дверь на четвертом этаже.

Игорь Альфредович открыл сам – высокий, худощавый, совершенно седой, только усы почти черные, лицо со множеством морщин, правый глаз заметно косит, и удивительно приятная улыбка в полной гармонии с дымящейся трубкой в углу рта.

– Проходи, Додик, проходи.

Здесь представляться не было никакой необходимости, и не только потому, что исправно сработала их внутренняя система паролей.

– А ты похож на отца, – продолжал Бергман. – Правда, Норочка? Это – Норочка, Нора Викентьевна, моя жена. Мы знали твоего отца, Додик. Недолго, но знали. Еще для «Хроники текущих событий» вместе материал готовили.

Нора Викентьевна, женщина немолодая, лет пятидесяти, но обаятельная, произвела на Давида очень приятное впечатление. Она была похожа на мать, и от этого всколыхнулись где-то в глубине теплые мягкие пласты детских воспоминаний. Однако «сердечный дешифратор» молчал. И очевидно, возникшее недоумение четко отразилось на лице, потому что Бергман сразу сказал:

– Предупреждая твой вопрос, Додик: Норочка – не Посвященная. Тебе, наверно, кажется по молодости лет, что мы должны создавать семьи только среди своих. Это абсолютно неверно.

Во-первых, «посвященность» – не болезнь и по наследству все равно не передается. Во-вторых, в совместной жизни важнее всего не Знание, даже если оно высшее и тайное, а понимание. Норочка меня понимает и любит. Этого больше чем достаточно. Да ты садись. Закуривай, если куришь. У нас тут всюду можно. А сейчас чаю нальем.

Нора Викентьевна принесла с кухни чайник и, глянув на часы, напомнила:

– Телевизор включи. Сейчас ровно девять будет.

– Ох, правда! – Игорь Альфредович засуетился, несколько раз щелкал не совсем исправным выключателем, наконец, экран вспыхнул, и они успели только-только к началу программы «Время».

А день был тот самый – двадцать первое января девяностого. Танки в Баку. Вынужденная мера. Десятки жертв в официальном сообщении, а значит – люди уже умели вычислять правду – на самом деле сотни. И по экрану заструилась кровь, постепенно заливая весь его красным цветом. На советском телевидении такое было впервые. Впервые такое позволили Сагалаеву, готовившему этот выпуск. Даже Игорь Альфредович не ожидал, шептал ошарашенно:

– Во, кровищи-то, кровищи!..

Потом они долго смотрели молча. Наконец Бергман спросил:

– Думаешь, они ввели туда войска, чтобы спасти армян от азербайджанских бандитов?

– Не думаю, – сказал Давид, – я внимательно следил все эти дни за событиями, и не по этому завиральному телевидению, а по «Свободе». Спасать в Баку уже практически некого. С помощью танков там пытаются сохранить лишь советскую власть. Но это глупо.

– Не просто глупо, – поправил Игорь Альфредович. – Это преступно. Но я уже и не жду ничего хорошего от этого режима.

– Так как же с ним бороться теперь? – вырвалось у Давида. – Так, как вы раньше боролись, наверно, уже не годится.

– Конечно, не годится, – согласился Бергман. – Но с ним уже и не надо бороться. Он сам погибнет.

– Когда? – не удержался от вопроса Давид.

– Не знаю. Правда, не знаю. Скоро. Но лично я уже не хочу на это смотреть. Мне на прошлой неделе дали разрешение на выезд.

Игорь Альфредович помолчал, раскуривая трубку.

– Эти идиоты признали меня евреем – им так удобнее, хотя во мне ни капли еврейской крови. Я вообще из поволжских немцев, но честно скажу, как еврей, натерпелся за жизнь много. В паспорте-то написано «русский», а кто у нас обычно русский с фамилией Бергман и отчеством Альфредович? Даже варяжское имя Игорь не выручало. В сорок восьмом вышибли из института, едва туда поступил. В сорок девятом вообще пришлось работу искать не в Москве, в Коломне жил у родственников. Приютили безродного космополита. На том официальное мое образование и закончилось. Потом уже не хотелось никуда поступать: и от марксизма-ленинизма тошнило, и опять же с милицией разговаривать проще, когда ты не с дипломом, а с квалификационной книжкой токаря шестого разряда. Этаким соединяющийся пролетарий всех стран. А с милицией разговаривать приходилось часто. Из-за фамилии особенно часто. И я шутил: «Вот женюсь, возьму фамилию супруги». В итоге не взял, конечно. Псевдоним придумал – это да. Его теперь весь мир знает: «Посев», «Континент», «Грани» – там я не Бергман, там я – Урус Силоваров. А для милиции всегда был Бергман. И не только для милиции.

С этими впервые познакомился как раз в Коломне, когда независимую стенную рабочую газету выпустили. Не зависимую от парткома. В районной гэбухе меня так и спросили: «Что ж это вы, гражданин Бергман, опять русский народ с пути истинного сбиваете?» А я ему в ответ: «Гражданин начальник, а я не еврей, я просто интеллигентный человек». Старая добрая

шутка, она для меня на всю жизнь актуальной осталась. А гражданин начальник тогда вспыл. Правда, после проверил мое личное дело и убедился, что прав-то я, но что ж поделывать: бьют, как говорится, по морде, а сажают все-таки по паспорту. Месяца два меня в изоляторе держали, не предъявляя никаких обвинений. Впрочем, обвинения в этой стране никогда особо не требовались. Но времена, по счастью, были смутные: то ли Круглов сменил Берию, то ли Серов – Круглова... Что у них там происходило – сам черт ногу сломит. Но меня, так или иначе, выпустили. Ну а потом до шестьдесят четвертого я еще успел перебраться в Москву. Работал опять-таки на разных заводах.

Почему-то принято считать, что среди рабочих не было диссидентов. Свидетельствую: это полнейшая неправда. В шестьдесят восьмом меня чудом не посадили. Ограничились высылкой. В семидесятые я жил в Москве уже только нелегально. Тут-то и начались самые серьезные знакомства и самые серьезные дела. Из на шумевших я знал практически всех: Солженицына, Сахарова, Буковского, Щаранского, Новодворскую, Григоренко, Марченко, Казачкова... Они подчас не знали друг друга, но знали меня. Скажи, разве такого человека можно терпеть на свободе. Конечно, гэбульники меня живо упрятали. Сначала на обычную зону. Там у меня была кличка Еврейчик и весьма высокий авторитет, обижать никому не позволяли. Так что с урками сидел я недолго. Обрати внимание, Додик, среди уголовки совсем не было антисемитизма.

А вот в Казани, в спецбольнице, куда я попал после очередной тюрьмы, антисемитизм был лютый. Может, потому, что евреи были самыми упрямыми. Евреи да еще, пожалуй, мусульмане, но ведь тамошним садистам до фонаря было, они просто от настоящей человеческой стойкости зверели. А стойкость возможна лишь тогда, когда у человека вера есть. Настоящая большая вера. Или Знание.

Игорь Альфредович первый раз по ходу этого неожиданно пространного рассказа упомянул о своей исключительности, и как-то так между прочим, небрежно. Но Давид понял. Мол, слушай, слушай, мальчик, я не в маразме, я тебе самое главное рассказываю, самое главное для всех Посвященных. И Давид слушал.

– В общем, когда я оттуда вышел живым и сохранившим ясность ума, я уже верил во всех богов сразу и считал себя настоящим евреем – заслуженным евреем Советского Союза, нет, выше – народным евреем СССР. Шутки шутками, но так уж получилось, Додик, что идеи сионизма в нашей стране всегда шли рука об руку с идеями демократии. Ну а про обратное и говорить нечего: антисемитизм – не более чем одно из проявлений фашизма. Так что я на сегодняшних чекистов не в обиде. Пусть высылают как еврея. Это справедливо и почетно.

Давид отлично понимал рассуждения Игоря Альфредовича. Его библейское имя в сочетании с белорусской фамилией Маревич для малограмотных борцов за чистоту славянской крови тоже звучало недвусмысленно, и он уже сам натерпелся если и не притеснений, то уж издевок – точно. Впрочем, изучение собственной родословной (к сожалению, возможности его в этом плане были невелики) не давало права утверждать, что еврейская кровь в нем отсутствует. И внутренне Давид слегка бравировал своей «многонациональностью».

Игорь Альфредович залпом допил уже совсем остывший чай и как бы подытожил:

– Уезжаю, Додик, уезжаю. Пропала собачка, маленькая, беленькая... надоело жить в этой стране! Середину помнишь сам. Не при женщинах будет сказано.

– А мне тоже пора ехать? – осторожно спросил Давид.

– Нет, – жестко ответил Бергман. – Зачем? Тебе это совершенно ни к чему. Молодым здесь жить, и ты это скоро поймешь. Может, так скоро, что еще и я не уеду.

В его словах слышалась уверенность, основанная на четком знании, и Давид невольно улыбнулся.

– Сигареткой не угостишь? – спросил Игорь Альфредович. – Надоело трубкой пыхтеть.

Сигареты в то время были в страшном дефиците, и, протягивая Владыке нераспечатанную пачку, Давид безусловно совершал поступок. Именно в этот момент он вдруг вспомнил, с кем, собственно, разговаривает. Очевидно, и это отразилось на его лице, потому что Бергман мгновенно откликнулся:

– Догадываюсь о твоём главном вопросе.

Откликнулся еще и рыжий Васька, распушивший вдруг сверх всякой меры огромный хвост и утробно проурчавший «М-м-а-а-о». Бергман закурил, потом надел на правую руку старую драную кожаную перчатку гигантского размера (для кого шили такую?) и принялся играть с котом, пытаясь ухватить его за широкую морду, а Васька шипел, бил наотмашь когтистой лапой и вцеплялся острыми зубами в дряблые черные пальцы огромной ненатуральной руки.

– Я создаю ему образ врага, – пояснил Игорь Альфредович. – Видишь, как свирепеет. Боевой кот!

Давид смотрел на эту странно политизированную игру и думал, что, наверно, так и надо: сидеть здесь, курить, пить чай, говорить о совсем далеких от Посвящения предметах, играть с котом... стоп! Все не случайно. Все это может оказаться ритуалом. И отодвинув еще на время свой главный вопрос, о котором уже догадался Бергман, Давид спросил:

– А коты бывают Посвященными?

Игорь Альфредович даже в «образ врага» играть перестал и взглянул на Давида с неподдельным уважением:

– Боюсь, я недооценил тебя, Додик. Бывают. Именно коты. Другие животные – нет, а коты бывают. Потому что они не просто животные. Ну да ладно. Ты, конечно же, хочешь знать, почему меня зовут Владыкой. Объясняю: у нас, Посвященных, это слово означает не человека, облеченного властью, а человека, владеющего всей полнотой информации. Может, сам термин «владыка» – не слишком удачный перевод. Но как еще сказать? Властелин? Слишком похоже на пластилин или вазелин. Властитель? Страшновато как-то. А «владыка» – принятое обращение к высшим чинам духовенства – не самая плохая аналогия, согласись. Это по форме, а по сути... Ну, ты ведь в курсе: Посвящение есть процесс обретения Знания. Все Посвященные получают Знание в очень компактной, но ограниченной форме. Мгновенно узнают, что будут жить вечно, что смерть – это не смерть и что они не одиноки в мире. А как, почему, что, зачем, откуда взялось, кто придумал – это все медленно, частями, умеренными порциями, потихонечку, как науки в университете, чтобы голова не лопнула. Торопиться ведь некуда: не узнаешь чего-то в этой жизни – узнаешь в следующей. А Владыка – человек избранный. Избранный среди избранных. Он получает все знания сразу, целиком. Зачем? Ну а как же? Кто будет других учить? Я, по крайней мере, так понимаю. Но это лишь одно из объяснений. Почему у Владыки голова не лопаается? Значит, такую голову выбирают. Много ли нас, Владык? Точно не знаю. Во всяком случае, несколько. Есть в Европе Владыка Шпатц, в Америке – Владыка Джереми, в Индии – Владыка Бхактавинвагма... Как нас выбирают? Очевидно, так же – Закон Случайных Чисел.

– А откуда вы узнаете, Владыка, – спросил Давид, – что уже известно мне, а что – еще нет?

– Читаю мысли. Но не все, не пугайся, лишь отдельные, по теме. Честное слово. Ты это поймешь. Ведь мысли Посвященных, пришедшие извне, живут как бы независимо от их мозга. Непонятно? Я сам не понимал. В КГБ объяснили. Они меня там психотропными препаратами пичкали и думали, что я им Высшее Знание выболтаю, пока в отключке буду лежать. Хрена лысого! Не для того Высшее Знание создано, чтобы на их поганые пленки записывать. Все Канонические Тексты, все высшие законы мироздания, всю историю Посвященных, даже все адреса и телефоны нынешних друзей-Посвященных я могу сообщить только добровольно, и даже элементарная физическая боль уже блокирует эту информацию. Представляешь?

– Здорово! – выдохнул Давид. – Так, значит, мы сильнее их?

– Ни черта! – остудил его Владыка. – Сильнее их те, кто призвал нас. Демиурги. Но это очевидно. Обратное было бы по меньшей мере странно. А вот такие, как мы, способны стать сильнее, только если будем вместе. Может, для этого я и уезжаю.

Он помолчал, вновь раскуривая трубку.

– Здесь немыслимо бороться со злом, Додик. Здесь, в России, все поставлено с ног на голову. Здесь утверждают, что общественные интересы – по определению – испокон веку выше личных. Здесь говорят, что «умом Россию не понять», а также, что наши часы самые быстрые часы в мире и что вообще Россия – родина слона. Я вернусь сюда, очевидно. Вернусь, когда Россия станет другой.

– А она станет?

– Обязательно. Только боюсь, Додик, что ты опоздаешь на метро.

– Ничего, поеду на такси.

– Хорошо зарабатываешь?

– Да нет, так себе, просто надоело копейки считать.

– А надо, Додик, зарабатывать хорошо. Тебе здесь жить.

Он вдруг совершенно внезапно опять превратился из Владыки в обычного Игоря Альфредовича. Что это значило? Аудиенция закончена?

– Я еще месяца два буду в России, Додик. Обязательно звони и заходи.

Ну а вот и конкретика!

– Ладно, Игорь Альфредович, тогда я побежал? До свидания, Нора Викентьевна!

А гражданин в каракулевом пирожке топтался-таки внизу в подъезде. Но Давид вдруг ощутил в себе такую удаль, такую лихость: наплевать ему и на этого гражданина, и на всю их проклятую контору. Мимо прошел с достоинством, «не повернув головы кочан». И пирожок вел себя тихо, кажется, даже глаз не поднял.

Сколько раз еще он встречался с Владыкой? Оформление документов затянулось, Игорь Альфредович покинул страну только летом, в конце июля, а до этого Давид бывал у него каждую неделю. Приходил, как на учебу, и Владыка шутил:

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.